БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

Екатерина Мишаненкова

ЛЮБОВЬ — ДЕЛО ТЯЖЕЛОЕ!

КОНТУР ВРЕМЕНИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Она говорила о себе: «Я жила на белом свете и старалась быть лучше». Белла Ахмадулина, большой Поэт и просто красивая женщина. Какой она была?

Она царила в советской литературе, начиная с 50-х годов, когда взошла звезда будущих шестидесятников. Ей досталась нелегкая задача – принять поэтическую эстафету из рук великих. Казалось немыслимым, что найдется женщина, чье имя будут ставить рядом с именами Ахматовой и Цветаевой, но Ахмадулина с честью справилась с этой миссией.

Ее жизнь была похожа на роман – любовь, скандалы, огромная слава и долгая опала. К сожалению, она не писала мемуаров и почти не рассказывала о себе журналистам. В этой книге автор собрал все, что известно о детстве, юности и молодых годах Ахмадулиной от нее самой, ее друзей, мужей, детей – из мемуаров, интервью, радио– и телепередач и т. д.

Взгляните на нее глазами тех, кто ее любил и ненавидел. И составьте свое собственное мнение.

- Екатерина Мишаненкова
  -
  - Предисловие
  - Рождение Беллы
  - Взросление
  - Испытание на прочность
  - Возраст любви
  - Шестидесятые
  - Белла, Нэлла, Гелла…
  - Вместо эпилога. Борис Мессерер
  - Приложение
    - Мужья Беллы Ахмадулиной
    - Упоминаемые в книге литературные деятели 50–60-х, поддерживавшие Ахмадулину в начале ее творческого пути
  - Источники и литература
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

○ 7

Екатерина Мишаненкова
Белла Ахмадулина. Любовь – дело тяжелое!

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Предисловие

По улице моей который год
звучат шаги – мои друзья уходят…

Кто из нас не помнит, как Надя Шевелева поет эту песню, а потом на вопрос Ипполита, чьи это стихи, отвечает: «Ахмадулиной».

Но что мы знаем о ней кроме того, что ее стихи так прекрасно ложатся на музыку? Кто такая Белла Ахмадулина? Какой она была?

Она царила в советской литературе начиная с 50-х годов, когда взошла звезда будущих шестидесятников. Ей досталась нелегкая задача – принять поэтическую эстафету из рук великих. Казалось немыслимым, что найдется женщина, чье имя будут ставить рядом с именами Ахматовой и Цветаевой, но Ахмадулина с честью справилась с этой миссией.

Она была большим Поэтом, а еще – защитницей слабых, любительницей собак и просто красивой женщиной.

Ее жизнь была похожа на роман – любовь, скандалы, огромная слава и долгая опала. К сожалению, она не писала мемуаров, почти не рассказывала о себе журналистам, и даже книга ее воспоминаний – это что-то вроде сборника эссе о ее друзьях. Но снова не о ней самой.

Есть лишь немного обрывочных рассказов о ее детстве и юности, сохранившихся только благодаря ее мужу, замечательному художнику Борису Мессереру, который, сам будучи талантливым и очень занятым человеком, находил время еще и на то, чтобы записывать и сохранять все, что она рассказывала.

В этой книге я постаралась собрать все, что известно о детстве, юности и молодых годах Ахмадулиной от нее самой, ее друзей, мужей, детей – из мемуаров, интервью, упоминаний в радио– и телепередачах и т. д.

Взгляните на нее глазами тех, кто ее любил и ненавидел. И составьте свое собственное мнение.

Рождение Беллы

Я жила на белом свете и старалась быть лучше.[1]

При рождении она получила имя Изабелла. Ее мать, Надежда Макаровна Лазарева, была переводчицей и очень любила Испанию. Настолько, что решила дать дочери испанское имя, и не просто испанское, а королевское.

Но это имя не прижилось – достигнув более-менее сознательного возраста, Изабелла сама переименовала себя в Беллу. С тех пор все – родственники, друзья, поклонники – называли ее только так. Один Твардовский обращался к ней не иначе как «Изабелла Ахатовна», но для него она делала исключение. Для всех остальных она была Беллой, и большинство искренне считали, что это и есть ее полное имя. Тем более, оно ей очень подходило, ведь «Белла» по-итальянски означает «красавица».

С отчеством Ахмадулиной тоже не все так уж просто. Ее отец, татарин по национальности, носил имя Ахат (Ахат Валеевич Ахмадулин), следовательно, она была Ахатовна. Но так сложилось, что чем известнее она становилась, чем популярнее были ее стихи, тем больше людей проводили параллель между ней и Анной Ахматовой. И как-то само собой сложилось так, что ее все чаще стали называть Беллой Ахматовной, словно подчеркивая преемственность поэзии от одного великого поэта[2] к другому. Сама Ахмадулина признавалась, что смущается, когда ее так называют, и все время поправляла: «Простите, я – Ахатовна, мой отец – Ахат».

Как бы то ни было, имя она получила от матери, отчество, разумеется, от отца, но постепенно они растаяли, словно старая кожа, словно кокон, который оставляет позади себя бабочка. Ей даже не пришлось брать псевдоним, как многим другим поэтам. Это случилось само собой – была Изабелла Ахатовна, стала Белла Ахматовна. Совпадение это или воля судьбы, некий указующий перст, напоминающий, что она была не такой, как все, и что даже в ее не самой обычной семье она все равно была «девочкой чужой»?

Моя первая яркая, отчетливая фраза и яркий, отчетливый цвет – сначала расцвели тюльпаны, и вдруг это угрюмое дитя, неприветливое, несимпатичное нисколько, вдруг увидело цветущие тюльпаны и сказало: «Я такого никогда не видала». То есть совершенно отчетливо такую четкую фразу. Все удивились, что

мрачный и какой-то, может быть, и немудрый ребенок вдруг высказался. Меня это так поразило, что в утешение мне, в каком-то троллейбусе мы едем, мне купили, кто-то продавал, какая-то тетушка, бабушка продавала, несколько красных маков. То есть только я успела пленниться ими и страшно поразиться, и быть так раненной этой алой их красотой, этим невероятным цветом этих растений, как ветер их сдул. Так начинались все неудачи, как эти маки пропавшие. Вот яркий и чудесный алый цвет сначала этих тюльпанов на какой-то гряде, и потом эти несколько маков, которые тут же судьба отняла, они улетели, в общем, какую-то трагедию снова я ощутила…

Да и она сама чувствовала себя чужой. Одно время даже думала, что ее перепутали в роддоме, тем более что такое вполне могло случиться – Надежда Макаровна вспоминала, что однажды ей на кормление принесли чужого ребенка, но она заметила и подняла скандал. И Белла, в очередной раз чувствуя, что ее не понимают, что она видит и ощущает то, что недоступно окружающим, включая и ее семью, раз за разом задумывалась: а вдруг все-таки ее перепутали?

Став старше, она отказалась от этих мыслей. Детская легковесность прошла, она стала тверже стоять на земле, ощущать свои корни и осознавать, какая гремучая смесь кровей – русской, итальянской и татарской – бурлит в ее венах.

Единственное, мне принадлежащее сокровище – русская речь. Я русская, хотя во мне разные крови присутствуют. Я русская по чувству и устройству, по матери, по бабушке, по паспорту, по прабабушкам и дедушкам.

Едва ли не впервые в истории русской поэзии имя стало ёмче фамилии – БЕЛЛА. И это не фамильярность со стороны читателей и почитателей. Белла Ахатовна – вот фамильярность, для самых близких.

Слава затмевает. Трудно разобраться, что слышишь, что видишь, что читаешь. Такое облако восторга, размытое по краям, как сквозь слёзы. Белла… что это, стихи? лицо? голос? вздор, стойка, повадка. Сразу не ответишь. Белла – это… Белла. Признание – род недоумения: неужели такое бывает? Нет, не может быть… Но вот же, вот! Есть, есть… но что же это?

И я – не твой читатель. Смотрю на страницу – а слышу голос. И буква – не вполне буква, и слово – полуначертано: отрывается, отлетает от страницы. Будто ухом видишь, очами слышишь. Смотришь в книгу – слышишь, голос зовет: оборачиваешься,

откуда… Нет, показалось, никого…

> *Андрей Битов, советский и российский писатель, один из создателей неформального объединения «БаГаЖъ» (Битов, Ахмадулина, Габриадзе, Алешковский, Жванецкий).*

Но начать все же следует с начала. С того времени, когда до Беллы Ахматовны было еще очень далеко.

Изабелла Ахатовна Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в Москве. Это особенный для страны год, со вполне заслуженной дурной славой, и Ахмадулину довольно долго мучила мысль о том, что она и такой страшный год волей судьбы оказались неразрывно связаны. Но со временем ей удалось справиться с этим комплексом, написав стихотворение «Варфоломеевская ночь», пропитанное размышлениями о судьбе ребенка, родившегося в жестокие времена:

> Я думала в уютный час дождя:
> а вдруг и впрямь, по логике наитья,
> заведомо безнравственно дитя,
> рожденное вблизи кровопролитья.
> …
> Еще птенец, едва поющий вздор,
> еще в ходьбе не сведущий козленок,
> он выжил и присвоил первый вздох,
> изъятый из дыхания казненных.

Выплеснутые в стихах раздумья помогли ей принять дату своего рождения и даже в какой-то степени полюбить ее. «Я в общем вполне счастлива, что родилась в страшном 1937-м году, – говорила она. – Да и все мои лучшие друзья родились либо в 1937-м, либо примерно в это время – Андрей Битов, Василий Аксенов. Это уже само по себе свидетельствует о стойкости нашего народа. Вообще человеку как бы предназначена благополучная или неблагополучная жизнь. Иногда я хотела бы, чтобы судьба смягчилась бы ко мне не ради меня самой – это уже мое призвание, – а ради детей».

Без сомнения, время, в которое она родилась, наложило отпечаток на всю дальнейшую жизнь Беллы Ахмадулиной. Еще будучи ребенком, не понимая и не задумываясь о происходящем, она, видимо, улавливала общую атмосферу, царившую вокруг нее. Атмосферу страха и ожидания.

«Осталась где-то жалкая, убогая фотография: две унылые

женщины – это мать моя, моя тетка, – а вот в руках у них то, что они только что обрели, то, что появилось на свет в апреле 1937 года, – говорила она. Или даже не говорила, а грезила вслух, уходя в воспоминания о столь раннем детстве, которое большинство людей не помнит даже в виде смутных ощущений. – Знает ли это малосформированное несчастное личико, что же предстоит, что же дальше будет? Всего лишь апрель тридцать седьмого года, но вот этому крошечному существу, этому свертку, который они держат, прижимают к себе, как будто что-то известно, что творится вокруг. И довольно долгое время в раннем, самом раннем начале детства меня осеняло какое-то чувство, что я знаю, несмотря на полное отсутствие возраста, что я знаю что-то, что и не надо знать и невозможно знать, и, в общем, что выжить – невозможно».

Откуда взялись такие странные мысли и чувства у маленького вполне благополучного ребенка? Ведь ее семья была более чем «хорошей» по советским меркам. Мать – переводчица в структуре госбезопасности, отец – комсомольский и партийный работник, в годы Великой Отечественной войны гвардии майор, заместитель по политчасти командира 31-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, потом – крупный ответственный работник Государственного таможенного комитета СССР.

Как писал в 1957 году ее первый муж, Евгений Евтушенко:

Дочь таможенника Ахата,
переводчицы из КГБ,
ты настолько была языката,
что боялись подъехать к тебе.

Дива, модница, рыцарь, артистка,
угощатель друзей дорогих,
никогда не боялась ты риска,
а боялась всегда за других.

Но именно из семьи и окружения пошли первые тревоги Беллы, первые ее смутные ощущения тревоги и таящегося зла. Возможно, родись она где-нибудь в провинции, в простой семье, ее детство было бы куда более безмятежным. Но поскольку ее родители были людьми достаточно значимыми, в конце 30-х годов они оказались в самой гуще событий – аресты, перешептывания, страхи и подозрения окутывали их, а следовательно, и их маленькую дочь плотной пеленой.

Ахмадулина с горечью вспоминала, что ее детство прошло в доме, где без конца арестовывали людей. Она чувствовала, что

происходит что-то не то, но была слишком мала, чтобы понять это, и могла только из песочницы, с совочком в руках, наблюдать, как люди уезжают куда-то и больше не возвращаются. «Я не могла знать, не могла понимать, что происходит, – говорила она спустя много лет, – но некий след во мне остался. Даже неграмотный, не очень тонкий слух ребенка многое улавливает. Я была беспечной, благополучной девочкой, однако ощущение зловещей сени несомненно присутствовало. Наш дом, старинная усадьба на углу Садового кольца и Делегатской улицы, назывался почему-то «Третий Дом Советов». Самые обреченные, мы знаем, жили в Доме на набережной… А наш предназначался для мелких, о которых поначалу как бы забыли ради более важных. Слава богу, моей семьи это впрямую не коснулось. Но ближайший друг, писатель Феликс Светов – чистейший, добрейший, нежнейший, никогда не затаивший на белый свет никакой обиды и, как потом выяснилось, живший со мной в одном доме (только он на десять лет старше), был ребенком «врагов народа». У него всех посадили. Позднее мы всё собирались туда, где, проходя мимо, подростком он видел, как я маленькая важно лепила куличики».

Не обошли репрессии стороной и семью Беллы. Ее отец занимал слишком высокую должность, чтобы остаться незамеченным, но в то же время недостаточно высокую, чтобы его судьба была делом государственной значимости. Поэтому, когда его исключили из партии и сняли со всех постов, Надежде Макаровне удалось как-то, через свои связи в госбезопасности, помочь ему не только сохранить жизнь, но и со временем вернуть прежнее положение.

«Он был в отчаянии, я все время это чувствовала, – вспоминала Ахмадулина. – Мать что-то мне говорила, что ей удалось отца спасти, каким-то образом… Я ведь не знала, не знала до довольно взрослого времени, где она работает. А она не знала, по-моему, что она делала. Ну, переводчица и переводчица. Она училась в Институте иностранных языков, там где-то, в Арбатском переулке, по-моему, и с детства знала какие-то языки, а потом учила японский и испанский, знала английский, французский. И видимо, была на хорошем счету, не знаю. И ее никто не трогал, и отца она как-то спасла». Впрочем, эту тему у них в семье предпочитали не обсуждать, да и сама Белла не задавала лишних вопросов, чтобы не тревожить болезненные воспоминания родителей, да и не напоминать лишний раз как себе, так и другим, в какой структуре работала ее мать. Это была одна из тем, которые она не обсуждала. Поэтесса Инна Богачинская очень точно называла ее «внутренним диссидентом»: «Она не выходила на площадь с антиправительственными

лозунгами, но в разговорах с отвращением говорила о власть предержащих. О деятельности ее мамы я совершенно не осведомлена. Мы никогда этой темы не касались».

Кстати, по словам Ахмадулиной, когда она родилась, Надежда Макаровна и Ахат Валеевич еще не были женаты. Они расписались как раз во время его опалы. Впрочем, надо сказать, что бы сейчас ни говорили о советском времени, нравах и тому подобном, на самом деле такая картина была отнюдь не редкостью. И среди партийных деятелей особенно, ведь их молодость пришлась на революционные и послереволюционные времена, когда брак был объявлен пережитком прошлого, буржуазным обычаем. Изучая биографии советских политиков, спортсменов, артистов и прочих известных людей, я давно обратила внимание, насколько у многих из них родители заключали официальный брак уже после рождения детей, причем из каких-нибудь меркантильных соображений или ради удобства – чтобы в гостинице позволяли селиться вместе, чтобы комнату в общежитии дали, чтобы распределили работать в один и тот же город и т. д. Мало кто знает, что даже Первый секретарь ЦК КПСС, глава Советского государства Никита Сергеевич Хрущев женился только после отставки, то есть, его жена, Нина Петровна, сопровождавшая его на все официальные мероприятия, формально была всего лишь сожительницей.

Возможно, Надежде Макаровне удалось спасти мужа благодаря и не служебным, а семейным связям. Она была племянницей революционера Александра Стопани. Он к тому времени уже умер (в 1932 году), но забыт не был. Чтобы понять, насколько это была значимая фигура, достаточно сказать, что похоронен он был в Кремлевской стене, а его именем назвали улицы в нескольких городах, включая Москву.

Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии – Стопани – была привнесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но все же прочно, во многих поколениях, украшенному яркой чернотой волос и глубокой, выпуклой теменью глаз. Родной брат бабушки – Александр Митрофанович Стопани был известным революционером, сподвижником Ленина по работе в «Искре» и съездам РСДРП.

Ахмадулина говорила: «Возможно, мои близкие выжили потому, что бабушкин брат Александр Митрофанович считался каким-то дружком Ленина. Остальные братья были, к счастью, других убеждений, но не они победили. Кто погиб в Белом

движении, кто смог – уехал. Бабушка про них скрывала. Она тоже была знакома с Лениным. Однако при этом терпеть его не могла. Тут довольно забавно: уходя на работу, моя мать наказывала бабушке: «Расскажи Беллочке про Ленина». А бабушка была редкостно добрая, сердечная, но воспоминания о Ленине у нее остались плохие. И она простодушно мне об этом рассказывала. Барышней она носила туда-сюда прокламации, за что её даже выгнали из дома. Бывшая гимназистка поступила на фельдшерские курсы, стала сестрой милосердия. В памяти остались обрывки истории о какой-то маёвке. Почему-то бабушка в гимназической форме вместе с Лениным переплывала Волгу. И он, сам ссыльный, все время кричал на еще одного человека в лодке: «Гребец, греби!» Бабушку удивляло, что Ленин сердился, а не пытался помочь. Я не очень понимала, что это «греби», но рассказ странным образом ужасал мое воображение».

Сама бабушка тоже была из числа старых большевиков, хотя, по утверждению Ахмадулиной, больше не из убеждения, а под влиянием горячо любимого брата. Она носила листовки, помогала друзьям из революционного кружка, ходила на маевки. В конце концов ее за это даже исключили из гимназии, а вскоре ее пути с большинством членов семьи, кроме брата Александра, и вовсе разошлись. Она уехала в Казань на фельдшерские курсы, там продолжала общаться с революционерами и даже вышла замуж, правда, фиктивно, за некоего Баранова[3], который был болен чахоткой и нуждался в лечении за границей, а поехать с ним вместе могла только законная жена.

Фиктивные помолвки и даже браки были не редкостью в революционной среде – когда революционеры попадали в тюрьму, навещать их разрешали только родственникам, супругам и невестам/женихам. И если у них не было родственников, готовых поддержать их в такой ситуации, им находили невесту или жениха среди товарищей по партии. Женщинам-революционеркам, приговоренным к ссылке, муж и вовсе был необходим, это позволяло им уберечься от оскорблений.

Часто такие фиктивные браки превращались в настоящие, но в случае с бабушкой Ахмадулиной, Надеждой Митрофановной, этого не произошло. Она вышла за Баранова замуж, приняла его фамилию, уехала с ним за границу и всячески о нем заботилась, но, как говорила позже, они так и остались только товарищами. В Швейцарии им пришлось нелегко, поскольку обещанной денежной поддержки от товарищей-революционеров они так и не получили. Надежда Митрофановна как-то выкручивалась сама, работала сиделкой, возможно, переводчицей – благо она знала французский и немецкий. Незадолго до революции они вернулись

в Россию, где их сразу бросили в тюрьму как неблагонадежных. Там Баранов и умер.

После его смерти Надежда Митрофановна вышла замуж уже по-настоящему, за некоего Лихачева, от которого и родила двух дочерей – Христину и Надежду. А фамилию они получили от своего приемного отца – Ахмадулина говорила, что он был четвертым мужем бабушки: «Я видела его фотографию, он был хороший, благородный, с усами такой. Вот этот уже Лазарев был, он удочерил бабушкиных детей, Христину и мою мать, они стали Лазаревыми».

В то время Надежда Митрофановна с детьми, мужем и братом Александром жили в Донбассе, и там состоялась их очередная встреча с Лениным, которая окончательно разочаровала Надежду Митрофановну в вожде пролетариата. Причина была не политическая, а вполне личная – она болела тифом, а ей пришлось варить для гостя кофе. Тот не удался, и Ленин, по словам Ахмадулиной, закричал: «Что твоя сестра, такая дура, до сих пор не научилась кофе готовить?!» С тех пор Надежда Митрофановна окончательно охладела к идеалам революции, но как бы то ни было, ее революционное прошлое потом немало помогало всей их семье и, возможно, спасло жизнь ее зятю.

Утром нам предстояло на машине пересечь с запада на восток всю Италию и, не доезжая Адриатического моря, остановиться в Пене, маленьком студенческом городке, расположенном недалеко от Бари – крупного промышленного центра региона Апулия. Здесь намечалось первое выступление Беллы и Булата.

Разместившись в небольшой гостинице, мы пошли гулять по кривым улочкам старого города и неожиданно наткнулись на обувной магазин «Стопани». Фамилия эта известна в России, потому что родственник Беллы А. М. Стопани был соратником Ленина и в Москве, на Чистых прудах, существовал (недавно переименованный) переулок его имени. Булат, прекрасно знавший, что у Беллы есть итальянская кровь, заволновался, увидев фамилию Стопани на вывеске, и сказал, что мы обязательно должны расспросить владельцев магазина об их родственных связях.

Мы немного посомневались, но все же через нашу переводчицу обратились к хозяину. Реакция последовала самая неожиданная: тот стал всеми силами открещиваться от возможного родства, видимо, опасаясь наследственных притязаний со стороны обнаружившихся родственников из России.

Борис Мессерер, муж Беллы Ахмадулиной.

Бабушка оказала на Беллу большое влияние, куда большее, чем вечно занятая работой мать. Вообще, она никогда не говорила о матери плохо, но все же в ее воспоминаниях сразу появлялся некоторый холодок. Не было у них душевной близости, да и взаимопонимания не хватало. Надежда Макаровна постоянно работала, много делала для семьи, но странные недетские фантазии маленькой дочери ей были совершенно непонятны, да вряд ли она даже находила время в них вникать.

Белле в свою очередь была не близка материнская практичность и приземленность, она тянулась к трагическим, оторванным от реальности, героическим и иногда даже истерическим натурам. Она обожала бабушку и с восторгом вспоминала, как та, живя в коммуналке на нищенскую пенсию, отказалась от предложенной ей большой пенсии, на которую имела право как старая революционерка. Восхищалась своей теткой Христиной, сестрой матери, которая была санитаркой на советско-финской войне, «солдат наших там защищала, собой закрывала. Снайперы их были очень меткие, их называли «кукушки финские», но, наверное, они видели, что это какая-то баба-санитарка, и ее только косвенно задевали пулей, но у нее были следы. Она вообще была склонна к героизму, потом всю Отечественную войну до самого конца была санитаркой. Когда героическая тетка уже старая была, увидела, как котят бросили топить в пруд какой-то, и она бросилась за ними. Котят она вытащила из воды, а они стали сумасшедшие и бросались на нее, кусались, не пережили этой травмы утопления. Вообще, очень хорошая, очень трагическая, совершенно не похожая на мою мать. Работала маляром, нищенствовала, мать все это презирала, но они с бабушкой больше всего на меня влияли».

Но, наверное, квинтэссенцией ее «странности», раздражавшей Надежду Макаровну, можно назвать случай в конце войны, когда они одно время снимали угол в избе какой-то женщины. «Это была совершенно испепеленная, худая женщина, вся в черном, – вспоминала Ахмадулина много лет спустя. – Конечно, у нее кто-то… Она с нами не говорила никогда и относилась с каким-то презрением, словно потому, что мы живые, хоть мать и говорила:

– Да у меня вот дочь болела.

Ей было все совершенно или безразлично, или противно, она все время непрестанно молилась, перед ней была икона. Не вставая с колен день и ночь, день и ночь, день и ночь, она молилась. И я так любила ее, так сочувствовала ей. Я понимала, что, может быть, она молит за того, за кого можно молиться,

чтобы спасти его, но по всему ее выражению, ее соотношению с этой иконой, потому, что она вообще не поднималась с колен никогда. Я по такому исступленному ее лицу поняла – наверное, тот, о котором она так убивалась, не вернулся, его уже не было. А тут постепенно кончалось эвакуационное время. Но я страшно жалела и любила эту женщину».

В Белле было удивительное, на мой взгляд, сочетание беспомощности, пассивности даже и внутренней воли, очень трезвой и очень жесткой самооценки. Я думаю, что это происходило от того, что она больше всего жила в двух состояниях. Одно было состояние шестидесятнического упоения, а второе, когда она как раз стала настоящим поэтом в 80-е – это ощущение горького похмелья и от дружб, и от влюбленностей, и ощущение трезвого суда собственной совести. Именно поэтому, именно из-за больной, обостренной совести она совершала так много героических поступков, так прекрасно поддерживала диссидентов и так не ломалась в тех обстоятельствах, в которых сильные мужчины ломались постоянно. Она могла, конечно, себе позволить не бороться за жизнь, за привилегии, потому что она так была царственна и так хороша, что было ощущение, что все положат к ногам. Но по ней прекрасно было видно, что если не придут и не положат, она это переживет, она без этого обойдется. И вот это мне в ней нравилось особенно.

Дмитрий Быков, писатель.

Начало войны Ахмадулина запомнила смутно, все же она была еще слишком мала. Поэтому события этого времени остались в ее памяти скорее на уровне ощущений, эмоций, причем даже больше не ее собственных, а окружающих – она чувствовала всеобщий страх, и он передавался ей, хотя она и не понимала его причины. Ее собственных впечатлений от первых дней войны было не так уж много – садик с плачущими детьми, воспитательницы, отбирающие родительские подарки, и игрушечный мишка, которого она так никому и не отдала.

Кстати, этот мишка стал для Ахмадулиной чем-то вроде талисмана. Ее дочь, Елизавета Кулиева, рассказывала: «Испытывая слабость, мама не отпускала от себя старого игрушечного мишку. Сколько себя знаю, он существовал. Ребенком мама с ним играла, даже взяла в эвакуацию и привезла назад. Когда мы появились, мишка достался нам. Увидев его на даче, мама обрадовалась, стала ощупывать. Он вполне сохранный, только внутри все шуршит…» И свои последние дни Ахмадулина, по свидетельству дочерей, провела в компании кошки и все того

же старого игрушечного мишки, с которым не расставалась во время войны, и о котором вновь вспомнила на закате своих дней: «Это ему она со слезами рассказывала о своих бедах. Окончательно потеряв зрение, мама иногда осторожно прикасалась к его голове, долго прислушивалась к своим ощущениям и наконец удовлетворенно заключала: «Конечно, это его глазки – разве я могла их забыть?» Мамин медведь и сейчас сидит рядом с ее фотографией, грустно взирая на мир с высоты книжного шкафа, – совсем уже старик».

Игрушечный мишка… Когда читаешь размышления Ахмадулиной об ее детстве и юности, нельзя не заметить, что именно в воспоминаниях о военном времени она превращается из «инопланетянки», странного и непонятного создания, не по-детски серьезного, в обычного ребенка. Она вспоминает игрушечного мишку, открытки, которые ей присылал с фронта отец, вспоминает, как ждала его возвращения и принимала за него каждого солдата. Какой ребенок военного времени не сказал бы о себе то же самое. Война – массовая, мощная, всеобъемлющая трагедия, потрясшая до основания жизнь каждого человека, уравняла всех. Хотя бы на время.

Москву уже бомбили, все, кто мог, эвакуировались, а четырехлетняя Белла под опекой бабушки (мать тоже ушла на войну в качестве переводчицы) все еще не могла никуда уехать. Она заболела корью, и они вынуждены были соблюдать карантин. Только осенью им наконец удалось выбраться из Москвы и уехать куда глаза глядят. В смысле, куда везли очередную группу эвакуированных – выбирать уже не было ни времени, ни возможности.

Была еще осень, чудесная какая-то, нежная, цветущая бледной желтизной своей осень, и она словно разделяла грусть людей. И так как-то грустно было смотреть на это небо чудное. Я это очень помню. И ничего, никого не было в теплушке нашей, время от времени проносились какие-то составы, но так одиноко… У меня осталось такое ощущение, которое дальше можно было назвать или почувствовать единственным на свете, именно этим, ни с чем не схожим больным чувством отечества, с которым ты вот совсем один, – ты совпал с этими поблекшими деревьями, с этими пустыми-пустыми местами. И какая-то была, почему-то мне казалось, голубая корова, но она не была голубая, серая какая-то, одинокая, печальная корова тоже как знак совершенного сиротства, совершенного. Это я сильно запомнила.

Привезли их в Уфу. Но что там, в чужом незнакомом городе,

было делать пожилой женщине и четырехлетнему ребенку. Само собой родилось решение ехать в Казань, откуда был родом Ахат Валеевич – там у него остались мать, сестра и другие родственники. И хотя они не одобряли того, что Ахат Валеевич был женат на русской и жил в Москве, разумеется они не могли не принять его дочь. Но с явным неудовольствием. «Меня напугала эта вторая бабушка, – вспоминала Ахмадулина. – Она ходила в каком-то цветастом длинном наряде, голова замотана, страшно мрачная, хоть ей и объяснили, что это ее внучка, Ахата дочка, но это ей не понравилось… И конечно, ее ужасно раздражало, что я не говорила по-татарски. Она несколько раз даже хотела мне заехать, но тут моя бабушка, конечно, такого не могла позволить. Заехать, чтоб я говорила как надо, как нормальные люди говорят. И нам отвели угол, совершенно какой-то угол, и эта бабушка всегда была угрюма».

Национальный вопрос в их семье, видимо, действительно был в некоторой степени проблемным. Эту тему Белла Ахмадулина тоже старалась не обсуждать, но иногда все же упоминала, например, что мать звала отца не Ахатом, а Аркадием, а сам он учил свою совсем крошечную дочь говорить: «Я татайка, я татайка».

Очевидно, что некоторая напряженность по этому вопросу в их семье была. Но считать это каким-то глобальным конфликтом не стоит: переделывать татарские имена на русский манер – давняя традиция, еще с царских времен. Она сохранилась и сейчас, наверняка многие и не знают, что их подруги Сони и Гали на самом деле по паспорту зовутся Сафиями и Гульсинами. Так и национальные традиции сохраняются, и сложностей с произношением имен нет. Ахмадулина, кстати, вспоминала о своей тетке Хаят, сестре отца: «Она боялась при своей матери говорить со мной по-русски, но вдруг мне шепотом сказала: «Да ты Марусей, Маруся меня зови». То есть она понимала, что «Хаят» мне тяжело, я не могу научиться. И я видела, что в ней тепло, любовь, и всякий раз, когда ее мать не видела, она меня успевала приласкать, погладить».

Там было очень красивое Черное озеро. Кстати, это Черное озеро, которым я любовалась, там лебеди плавали, это было рядом со зданием казанского КГБ, которое уже с судьбой Аксенова, с его родными, с родителями было связано. Но я же этого не знала, а смотрела на озеро, в котором плавали лебеди, и они, черные, отражались в воде, и я любовалась ими.

В Казани им жилось тяжело, но Ахмадулина бабушку не

винила, даже несмотря на то, что та обращалась с ней излишне сурово. Жизнь была тяжелой у всех, было голодно, и пара лишних ртов никого не радовали. Хаят тайком от матери подкармливала маленькую племянницу, но для этого ей, конечно, приходилось урезать собственную порцию, отнимая возможность выжить у себя самой. Войну она не пережила…

А Белла снова заболела, и хлопот всем еще прибавилось. Она худела, бледнела, почти перестала ходить, и наконец врачи поставили на ней крест. Сказали, что это голодная дизентерия и что шансов выжить у девочки нет. Белла это слышала, и то ли дело было в особом детском восприятии, то ли это была ее личная особенность, но страха она не испытала. «Чудесная легкость овладела мной… – рассказывала она, уже став взрослой. – Вдруг мне стало совершенно легко, все мучительные ощущения отдалились. Бабушка, да и она вдруг стала поглядывать иначе, та бабушка, мать отца. Навряд ли уж она была такая злодейская. И вдруг я чувствую какое-то почти улетание, так легко, так беззаботно, главное – ничего не нужно страшиться, ничего не хочется: ни есть, ни пить, ничего-ничего. Просто лежать, так лежать и как будто куда-то возвышаться».

Что так Снегурочку тянуло
к тому высокому огню?
Уж лучше б в речке утонула,
попала под ноги коню.

Но голубым своим подолом
вспорхнула – ноженьки видны –
и нет ее. Она подобна
глотку оттаявшей воды.

Как чисто с воздухом смешалась,
и кончилась ее пора.
Играть с огнем – вот наша шалость
вот наша древняя игра.

Нас цвет оранжевый так тянет,
так нам проходу не дает.
Ему поддавшись, тело тает
и телом быть перестает.

Но пуще мы огонь раскурим
и вовлечем его в игру,
и снова мы собой рискуем

и доверяемся костру.

Вот наш удел еще невидим,
в дыму еще неразличим.
То ль из него живыми выйдем,
то ль навсегда сольемся с ним.

К счастью, умереть ей не дали. Бабушка Надежда Митрофановна отправила ее матери телеграмму, и ту все-таки отпустили со службы к умирающей дочери. Белла была уже в таком состоянии, что даже не узнала мать, да и вообще все это осталось в ее памяти в виде каких-то смутных образов. «Через какое-то время, вот уж не знаю, как далеко возлетели мои увядшие крыла, – говорила она. – Вдруг я увидела, что надо мной стоит рыдающая женщина в военной форме.

Деятельная Надежда Макаровна нашла все – врачей, лекарства, еду, и через какое-то время Белла не только стала поправляться, но и окрепла достаточно, чтобы ее можно было увезти из Казани. Куда они поехали, она толком не запомнила, весь этот период для нее был как в тумане. Помнила только, что они плыли на пароходе, а потом жили у той самой заворожившей ее детское воображение женщины, что все время молилась и смотрела с презрительным безразличием на всех окружающих, даже на маленькую больную девочку. Беллу настолько очаровывала ее отрешенность, что она даже нарисовала ее портрет – как сумела, черным и желтым карандашами – и спрятала под подушку. Возможно, дело было в том, что она впервые встретила кого-то… не совсем земного, живого, но словно бы уже далекого от реального мира, и поэтому ей почудилось в этой женщине что-то родственное.

Ахмадулина сразу же бросалась в глаза своей не от мира «сегойностью». Было в ней что-то от птицы с блуждающими глазами, какая-то внутренняя неразрешимость: то ли взлететь, то ли остаться. Казалось, что Белла обитает в нездешних пространствах. Разговаривать с ней было непросто из-за необозначенности ее присутствия. Но от нее исходила волна доброжелательности, соучастия и готовности прийти на помощь.

Инна Богачинская, поэтесса.

Вот так, в болезнях и переездах для Беллы Ахмадулиной прошла большая часть войны. А между тем наступил уже 1944 год, и пришло время возвращаться в Москву. «Ну а потом опять

какой-то переплыв через реку, – вспоминала она, – а потом уже смотрю, – везут на тележке, на которой теперь продукты возят. Везут меня, бабушка тащится, уже Москва, вот вам и Ильинский сквер».

К тому времени ей уже исполнилось семь лет, пора было идти в школу. Но с учебой дело как-то не заладилось. Сама Ахмадулина утверждала, что как один раз сходила в школу, так ей настолько не понравилось, что три года она туда больше не заглядывала. Наверняка она все же преувеличивает – в ее воспоминаниях мелькают имена, люди и события, связанные со школой. Это учительница, которая пыталась ее чему-то научить и постоянно просила у ее родителей продукты, а также директриса, утверждавшая, что Белла – самый тяжелый и неодаренный ребенок в школе, думающий только о собаке. В последнем, кстати, она была права – любовь к животным Ахмадулина пронесла через всю свою жизнь, и собака этой директрисы стала одним из первых ее любимцев, ее «утешением, любовью» в те годы, когда она отходила от болезней и военных потрясений и понемногу оживала, превращаясь из эльфа или инопланетянки в пусть довольно необычного, но все же ребенка.

Душевная щедрость, которая распространяется на все живые существа, обязательно входит в устройство совершенной человеческой личности. Себя я не отношу к таковым, но в этом вопросе я полностью солидарна с Анастасией Ивановной Цветаевой, которая говорила: слово «собака» пишу большими буквами. Взаимоотношение с живыми существами обязательно для человека, хотя оно причиняет много страданий: всю жизнь с детства меня преследует боль за бездомных животных, и вечно я кого-то подбираю и приношу домой, а теперь вот еще и дочерям отдаю.

Примирилась она и со школой – этому способствовало появление новой учительницы, Федосеевой Надежды Алексеевны. «Но тут вдруг стало меняться положение, это, видимо, кто-то вник в ребенка, в его ранние такие страдания, в неумение ни с кем поделиться никакой бедой, – вспоминала Ахмадулина. – Вдруг появилась после войны раненая учительница, наверное, испытавшая все военные горести. Она уставилась на меня каким-то внимательным взглядом, видимо, увидела что-то такое в человеке, что было ей не чуждо, а как бы смутно и условно родимо, потому что она была горестная, еще и с какой-то раной, как-то перевязанной, открытой, и тут вот такой ребенок».

Надежда Алексеевна сумела найти подход к «трудному

ребенку», и вскоре замкнутая индивидуалистка Белла настолько полюбила ее, что смогла выйти из своей «раковины», более-менее адаптировалась в классе и перестала упрямо писать одно только слово «собака». Более того, учителя и одноклассники с удивлением выяснили, что она, оказывается, читает и пишет лучше всех в классе. Это было заслугой бабушки Надежды Митрофановны, которая с раннего детства читала с ней классическую литературу – прежде всего Пушкина и Гоголя.

Впрочем, не отрицая роли Надежды Алексеевны в жизни Беллы, надо сказать несколько слов и о возможных объективных причинах того, почему она долго не могла почувствовать себя в школе комфортно. Ближе к концу войны ситуация в московских школах стала сильно ухудшаться. Росло число хулиганов, подростки приобретали блатные манеры, играли в карты на деньги, спекулировали билетами в кино, торговали папиросами, курили. Специалисты отдела народного образования объясняли это так: «В 1943 году в Москву вернулись дети, которые год-два не учились, либо учились недостаточно. В связи с эвакуацией и другими военными условиями значительно изменился состав населения Москвы. Крупные предприятия, возвратившиеся из эвакуации или восстановленные, привлекли рабочую силу из провинции и главным образом из деревни. Вследствие этого детское население Москвы значительно изменилось. В 1943–1944 годах ухудшилась дисциплина учащихся, появилась грубость в отношении старших и даже учителей. Понизился уровень культуры учащихся, их поведения, речи. Участились факты нарушения ими общественного порядка».

Одна из лучших учительниц Москвы Надежда Дмитриевна Покровская писала о своей работе в школе № 193 на Божедомке: «Вот главный хулиган, Борис Медведев, ему четырнадцать лет. Семья спекулирует, сестра легкого поведения. Как-то принес в школу фотоаппарат, «Лейку», чтобы снять молоденькую учительницу и приделать ее головку к обнаженному женскому торсу. От него то махоркой попахивало, то водкой. Кончилось тем, что его застали за выворачиванием лампочек в бомбоубежище. В конце концов из школы его исключили… Вот жирный откормленный Бурмин, единственный сын вполне добропорядочных родителей. Мальчики бьют его смертным боем… Раздражает его откормленность, лень и распущенность. Ходит по классу, а на замечание отвечает: «А что, я ничего не делаю». Вечно просит выйти, возвращаясь в класс, застегивает брюки, а на замечание опять отвечает: «А что я делаю?» В четверти у него двойки. На все мольбы родителей назвать фамилии тех, кто его бьет, с гордостью отвечает: «Бурмин не мент

и доносить не будет»»… И это речь не о самых худших школах и не о детях-беспризорниках. В класс Покровской стремились отдать на перевоспитание своих детей-хулиганов многие влиятельные люди. Если школа, в которую ходила маленькая Белла, была хотя бы вполовину так же ужасна, можно понять, почему она так долго не могла найти общего языка ни с одноклассниками, ни с учителями. Понятным становится и поведение директрисы, пытавшейся воздействовать на нее репрессиями и оскорблениями – от других методов учителя уже просто отвыкли.

Впрочем, скоро ситуация начала выправляться. С войны стали возвращаться мужчины, привыкшие к дисциплине и армейскому порядку и не привыкшие церемониться с хулиганьем. Они могли и на улице любого одернуть, но главное – бывших фронтовиков стали активно назначать на работу в школу, в основном директорами и военруками. В то время это было просто спасением, даже несмотря на то, что некоторые такие директора сильно перегибали палку с наведением порядка и превращали школу чуть ли не в казарму. Но как бы то ни было, такой жесткий подход сделал свое дело – дисциплина в школах стала повышаться, и они постепенно переставали напоминать воровские притоны.

Еще одним любимым учителем Беллы стал как раз такой бывший фронтовик – учитель рисования. Он тоже, как и большинство людей, к которым она в детстве питала особую симпатию, имел на лице печать пережитых страданий: «Он был в военной форме, тоже раненый, хромал и опирался на клюку, и, кроме того, у него в лице, которое меня тоже поразило, было какое-то страдание… Я не сомневалась, что ему грозило что-нибудь еще. Но это точно было мне как-то известно, что он скоро куда-то денется, что ему грозит какое-то горе. Я очень хорошо его помню: измученный, худой, хромой, хромающий, но с таким глубоким, трагическим взглядом, оглядывающий детей… И что он думал, что он пережил во время этой войны?»

Он действительно оказался необычным человеком, Белла не ошиблась, почувствовав в нем родственную душу, как не ошиблась и в том, что он вскоре пропал, и она никогда о нем больше не слышала. Но пока он еще был учителем рисования, он дал детям задание нарисовать День Победы. «У меня была коробка карандашей и лист бумаги, – рассказывала Ахмадулина, – и я всеми карандашами, которые у меня были, совершенно бесформенно, но все-все-все-всеразноцветность, которую только можно вообразить, я нарисовала. Дети каждый рисовал, кто что может – кто танк, кто самолет, а я – вот эту

бесформенность, но все карандаши я на это извела. Он обошел всех, всех похвалил, а ко мне подошел, и вдруг страшно растрогался, и поставил мне огромную пять с плюсом. И я была так поражена, то есть, значит, это совпадало с тем, что он имел в виду, то есть не так просто вот такое множество-множество цветных карандашей. Совершенно бесформенно, но зато очень бурно, потому что это и был День Победы».

Сознание, что позади по-настоящему жуткие времена, делает взгляд на сегодняшний день менее драматичным. Однако истребление духа, культуры, светлого разума, которое педантично совершалось в России с семнадцатого года, бесследно не проходит. Я радуюсь, когда вижу невинную раскрепощенную молодежь, очаровательных мальчиков и девочек на роликах. Счастье, что они не знают прежнего устройства. Но знают они его или нет – генетический слом остается в человеке. Чтобы возродить нацию, нужно огромное время. Дух, разум, грамотность души быстро не восстанавливаются. Вы спрашиваете, что у меня вызывает отторжение? Отсутствие былого времени. То есть непререкаемой культуры. Убыль нации неисчислима. Конвоир остался. Он жив. У него орден на груди или медаль. И потомство у него есть – дети, внуки. А зэк где? Никто не знает. Даже такой именитый зэк, как Мандельштам. Истребление нации разными способами, включая уничтожение дворянства, священников, раскулачивание крестьян, это и есть вырождение народа. Именно народа, а не нации, потому что у нас всегда была огромная многонациональная держава. Почему убивают негров? Кто они такие, эти жестокие люди? Кто? Вырожденцы и есть. Увы, это вырождение – оно заметно. Такая рана оставлена на судьбе. И это не может не причинять боль и не печалить.

Тем временем жизнь стала потихоньку входить в мирную колею. В чем была главная особенность первых послевоенных лет? Наверное, в том, что все верили в лучшее. Страна лежала в руинах, но опьяненные Победой люди готовы были терпеть лишения, работать на износ и стремиться вперед, к светлому будущему, которое обязательно наступит. Потому что они видели чудо и чувствовали себя причастными к сотворению этого чуда, ведь это их руками была сломлена мощь фашистской Германии. «Все мое поколение, за исключением разве некоторых, переживало трудности, – вспоминал известный строитель В. П. Сериков. – Но духом не падали. Главное – война была позади. Была радость труда, победы, дух соревнования».

Совсем скоро это радостное ожидание, задавленное

бытовыми проблемами и тяжелой работой, должно было превратиться в мечту, а потом у большинства людей и вовсе в сожаления о несбывшемся. Но в конце 40-х почти все верили в светлое будущее. И будь Ахмадулина тогда постарше, воспринимай она происходящее разумом, а не через ощущения, возможно, она тоже верила бы. Но она была маленькой грустной девочкой, уже усвоившей, что «жизнь состоит из потерь», поэтому эйфория конца 40-х прошла мимо нее, а в памяти остались нищие деревни, изможденные голодные люди и длинная очередь в тюрьму.

И все же, она тоже чувствовала, что жизнь налаживается. В 1946 году вернулся Ахат Валеевич – в звании гвардии майора, восстановленный в партии, с орденом. Пусть не сразу, но он все же устроился на работу, причем хорошую, а со временем и вовсе снова стал занимать высокие посты. Надежда Макаровна продолжала работать переводчиком. В общем, их семья на общем фоне жила очень прилично, и скоро даже обычный пессимизм Беллы стал разбавляться яркими красками и радостными детскими воспоминаниями. Точнее – нормальными детскими воспоминаниями, что даже важнее. Она научилась радоваться тому же, чему радовались другие дети, и это очень помогло ей адаптироваться в реальном мире, далеком от ее причудливых и мрачноватых грез.

Так, например, перед Новым, 1946 годом в Москве открылись елочные базары. В центре базара на Манежной площади была поставлена двадцатиметровая елка, а по бокам входа на ярмарку – две избушки на курьих ножках и расписные сани с запряженными в них тройками лошадей. На самой ярмарке маленькие избушки и теремки до конца января торговали украшениями, игрушками, пирожными, конфетами, одеколоном, пудрой, помадой, бутербродами, папиросами, табаком, книжками, альбомами с вырезными картинками и прочими мелочами.

Отразилось это событие и в воспоминаниях Ахмадулиной: «Елок до войны не было, потом они появились… – говорила она, – но откуда-то я знала, что они бывают. В эвакуации, я помню, какой-то ваткой веточку наряжала, но могу ошибиться, я маленькая была. А потом отец приносил большие елки, но мне не разрешали там трогать игрушки, Деда Мороза. Но на них никогда не надевали звезду, а надевали наконечник на верхушку… А звезды не было, а если была, то это кремлевская звезда. Никакой звезды не было, потому что они боялись, что это Вифлеемская звезда, как и есть на самом деле». И цитировала свое стихотворение, про «Мусю и Асю Цветаевых»[4]:

Две барышни, слетев из детской
светелки, шли на Мост Кузнецкий
с копейкой удалой купецкой:
Сочельник, нужно наконец-то
для елки приобресть звезду…
Влекла их толчея людская,
пред строгим Пушкиным сникая,
от Елисеева таская
кульки и свёртки, вся Тверская –
в мигании, во мгле, в огне.

Другим ее счастливым воспоминанием того периода стала поездка на море. Билеты, конечно, достать было очень трудно, не помогали ни материнские связи, ни отцовское удостоверение. И неудивительно – в послевоенные годы система транспорта была в полуразрушенном состоянии, а желающих куда-то ехать, без преувеличения, миллионы. Во время войны население очень сильно перемешалось, и практически каждый второй встретил Победу не там, где жил до 1941 года. Кто-то воевал, кого-то угнали в плен, чьи-то дома просто разбомбили, кто-то был эвакуирован в Среднюю Азию, а кого-то отправили вместе с заводами, на которых они работали, в Сибирь или на Урал. Но война закончилась, и почти все эти люди захотели вернуться домой. Однако не тут-то было. Более-менее свободно смогли уехать в родные города разве что эвакуированные в глубь страны частные лица, уехавшие не вместе с предприятиями, а сами по себе. Что же касается рабочих, мобилизованных на работу в военной промышленности, то их просто не отпускали, объясняя это государственной необходимостью. Число осужденных за самовольный уход с работы в 1947 году составило 215,7 тысячи человек, а в 1948 году – 250 тысяч. И это только те, кто ушли самовольно и были пойманы, а не попавшихся и тех, кто мог передвигаться свободно, было в разы больше.

Но все-таки наступил момент, когда семья Ахмадулиных оказалась в числе счастливчиков, которым удалось заполучить заветные билеты на поезд, и вскоре они прибыли в Абхазию, где Белла, кажется, впервые ощутила себя счастливой. После войны, болезней, разрухи, непонимания со стороны и взрослых, и детей она оказалась в каком-то сказочном мире, где всегда светило солнце, бегали собаки, а взрослые улыбались и все время старались ее чем-то накормить.

«Мы доехали в Гудауту, – вспоминала она. – И сняли какой-то изумительнейший дом. И изумительно добрые, прекрасные

хозяева и две собаки. И огромный сад, и все в нем росло. Все. Молодого хозяина звали Нияз, ну, не знаю, грузин или осетин. Но они были очень добрые, изумительно добрые… Но главное для меня было, конечно, что там жили две собаки. Звали их Тарзан и Тутулика. И причем наша любовь с этими двумя собаками, конечно, стала сразу неимоверной. И мы в этом саду все время играли. У меня было несколько кукол с собой, одна лысая. Я даже помню всех их, как они выглядели, как зовут. И был заяц, он звался Боря. Вот, и я играла с этими игрушками, а собаки играли со мной. И это, конечно, можно было принять за совершенное счастье после войны и всех бомбежек, голодовок. Да, это было блаженство. Мы прятались с Тарзаном и Тутуликой, потому что все я с ними играла, только играла-целовала. Хозяева это знали и смеялись очень».

Когда пришло время уезжать, для Беллы это стало настоящей трагедией. Хозяева дома, где они жили, уговаривали оставить ее погостить подольше, но родители не согласились, о чем она сожалела даже спустя много-много лет. Увы, сказка закончилась, из солнечного рая пришлось возвращаться в мрачную холодную Москву.

Причем, надо сказать, хоть детское воображение Беллы и несколько преувеличивало недостатки тогдашней Москвы, выглядела та действительно довольно плохо. Пожары и бомбежки вообще не украшают города, а в Москве за годы войны пообносилось практически все – давно не красили дома, не мостили улицы, не сажали цветы и деревья. На Чистопрудном бульваре трава была вытоптана, а сам пруд превратился в грязную лужу. Пришла в запустение и площадь у Белорусского вокзала, а мостовая в Кривом переулке, между улицей Разина (Варварка) и Мокринским переулком – буквально в двух шагах от дома, в котором жила Ахмадулина, – пришла в такое состояние, что в ее выбоинах и ямах ежедневно застревали машины. В домах прохудились и текли крыши, развалились подъезды. Некоторые из них были так изуродованы, что нельзя было ни войти в дом, ни выйти из него. Были и дома, которые остались без крыльца (в войну растащили на дрова), и теперь, чтобы выйти на улицу, жильцам приходилось прыгать на землю чуть ли не с двухметровой высоты. А уж подоконники, двери, рамы и вовсе отсутствовали почти везде – их жители выломали и сожгли в холодные военные зимы.

Да и жили они, несмотря на хорошие должности Надежды Макаровны и Ахата Валеевича, как все: в коммуналке, причем, видимо, переделанной из гостиницы – Ахмадулина вспоминала, что она с родителями жила в бывшем полулюксе, а бабушка с

тетей Христиной – в одиночном стандартном номере.

Казалось бы странно – переводчица из «органов» и крупный ответственный работник, а такое жилье, причем не на месяц-два, а на несколько лет. Но так действительно жила вся страна, от самых обычных людей до кинозвезд и министров. К примеру, советская кинозвезда Лидия Смирнова вспоминала: «Поскольку мой дом в Москве был разрушен, мне дали комнату на Большой Полянке, в доме, где жили кинематографисты – Михаил Ромм, Роман Кармен, Ада Войцик, Рошали, Боря Волчек.

Комната была маленькая, меньше двенадцати метров, угловая. В ней было два окна – везет мне на окна, – но места для мебели совсем не было. В квартире, кроме меня, жили замминистра кинематографии и какая-то женщина с дочкой и домашней работницей в еще меньшей, чем моя, комнатенке (у замминистра, естественно, были две роскошные комнаты). Телефон один на всех в большой круглой передней…

В нашей комнатке помещался только диван односпальный и стол. В стене был шкаф и одна полка с книгами. В шкафу находились посуда, одежда и все остальное. Я Рапопорту могла предложить только раскладушку, но и она тоже не помещалась, поэтому ноги и живот он засовывал под стол, а снаружи были голова и плечи. Вот так и спал на этой раскладушке уже трижды лауреат Государственной премии СССР.

Я иногда смотрю передачу «Старая квартира» и слышу, какие дифирамбы люди поют коммуналкам. Может быть, мне не повезло, но я не могу сказать о них ни одного доброго слова. И соседи у меня были глупы, грубы и беспардонны. С каким-то садистским удовольствием они целыми днями орали под моей дверью и играли в футбол (попробуй в такой обстановке выучи роль и «войди в образ»!).

В мой «банный день» госпожа «замша» из ненависти открывала форточку (окно было напротив ванной комнаты, и холодный зимний ветер пронизывал мое намыленное тело), я, голая, выскакивала в коридор, закрывала форточку, соседка через секунду ее открывала, и так до бесконечности. Однажды ночью, когда я случайно вошла на кухню, я увидела, как двое соседских ребят, засунув руки в мою кастрюлю, вытаскивали из нее мясо. А сколько других мелких пакостей они мне делали! Нет, никакого умиления коммуналки у меня не вызывают!»

И такая картина сохранялась еще долгие годы. Положение с жильем в стране улучшалось очень медленно. Елена Зубкова в книге «Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953» приводила такую статистику за 1956 год: в восьмидесяти пяти городах, тринадцати рабочих поселках и

ста сорока четырех сельских районах Брянской, Великолукской, Калининской, Калужской, Новгородской, Орловской, Псковской и других областей, подвергшихся во время войны оккупации или находившихся в прифронтовой зоне, провели специальную проверку и установили, что 1844 семьи все еще проживали в землянках и полуземлянках (из них 1440 семей в сельской местности), в развалинах зданий продолжали жить 1512 семей, в сырых и темных подвалах и полуподвалах – 3130 семей, в других непригодных для жилья помещениях (сараях, банях, кухнях, на чердаках, в железнодорожных вагонах и др.) – 32 555 семей». И это через одиннадцать лет после войны!

Так что условия жизни Беллы и ее родных были еще очень даже сносные – на общем фоне. К тому же, им очень повезло, что им было куда вернуться. Потому что многие люди, возвращаясь из эвакуации или с фронта, с удивлением и возмущением обнаруживали, что их комнаты заняты другими людьми. Так, за 1945 год было зарегистрировано 10 148 обращений граждан по вопросам жилья, и 45,2 % из них составляли именно жалобы от прежних владельцев квартир и комнат, чье жилье оказалось занятым. В 1946 году число таких жалоб увеличилось в десять с лишним раз – до 133 405.

От коммунальных квартир остался ужас. Не знаю, может быть, это преувеличено, но я помню, как я страдала, что отдельного места для человека нет, который все-таки сочиняет, хочет быть один. Конечно, нельзя спать в комнате вместе с родителями, а где взять детскую? Я все мечтала об отдельности какой-то, мне в результате ширмой отгородили пространство и там поставили диван-кровать, торшер там стоял с огромным желтым абажуром, это был мой кабинет в детстве. Я помню, что у меня висели на клеенке какие-то лебеди летящие, как в сказке.

Тяжело всем вместе, я рано это начала понимать, искать уединения.

Что ж, хотела Белла того или нет, ей пришлось вернуться в Москву, в ненавистную коммунальную квартиру, и снова пойти в школу. Правда, к тому времени она уже научилась вести себя как обычный ребенок, сдружилась с одноклассниками, причем со многими очень крепко, и это помогало ей не чувствовать себя несчастной. Она играла с друзьями на улице и даже с удовольствием хулиганила: «В доме жил Абакумов, но мы не знали, кто это такой, говорили, что это большой начальник, а мы непрестанно, вся вот эта такая наиболее озорная группа,

нажимали звонок и пускались со всех ног».

Неподалеку строили знаменитую высотку на Котельнической набережной – тот самый дом, который величайшая насмешница того времени, Фаина Раневская, с иронией называла «небоскребом для избранных» и «последним воплощением сталинского размаха». «Скоростные лифты, холлы с мягкой мебелью, ковры на лестницах белого мрамора, прорва обслуги. И всюду охрана – в каждом подъезде привратники и лифтеры, которые бдели круглые сутки, чтобы, не дай бог, простые трудящиеся не увидели, как живут их слуги». По Колпачному переулку, где находилась школа, в которой училась в то время Белла, на строительство высотки водили немецких пленных, и она видела, как жалеют их люди, сами пострадавшие от войны, от немцев, и даже пытаются их чем-нибудь угостить. Это стало для нее важным уроком человечности.

В то время она любила сидеть на чердаке школы и мечтать, но с возрастом эти светлые детские воспоминания померкли и потеряли свою яркость, не выдержав столкновения с реальностью. «В Колпачном переулке такой вид с чердака, – рассказывала она. – Я радовалась – какая красота, какой прекрасный мир, как хорошо, что я не негр в Америке. А потом этот дом достраивали уже наши заключенные…»

Вокруг дома на Котельнической набережной в то время ходило множество слухов, которые до нас дошли уже в виде городских легенд. Так, например, рассказывают, что высотка на Котельнической должна была стать узловым стратегическим объектом, и от нее должны были построить тоннели к Кремлю, Новоспасскому монастырю и через Москву-реку. А может, и построили, но до сих пор от нас это скрывают. Не зря же возводили этот дом заключенные, которые гарантированно никому ничего не могли рассказать. Что и как они строили – непонятно, ведь засекречено было все, и до сих пор неизвестно даже, сколько в этом доме было построено квартир. Можно найти много страшных и загадочных историй о том, как рабочие сбрасывали бригадиров с верхних этажей дома, поэтому те боялись подниматься выше пятого этажа; о том, как заключенные падали в обмороки от голода, позируя для скульптур, которыми украшена высотка; и даже о том, что где-то то ли в фундамент, то ли в стену вмурован погибший на строительстве человек.

На самом деле, конечно, большая часть этих легенд – не более чем выдумки. Да и труд заключенных на строительстве всех крупных объектов использовался по совершенно банальной причине – потому что это было дешево. Какая уж там человечность, когда страна лежит в руинах. Но для скульптур

заключенные действительно позировали, а еще на верхних этажах высотки можно найти сделанные ими надписи – Ахмадулина, вспоминая детство и свои впечатления о строительстве легендарной высотки, рассказывала: «У Васи Аксенова, жившего там, на стекле были нацарапаны слова: «Строили заключенные»».

Но важнейшее для нее событие тех лет, оказавшее огромное влияние на формирование ее личности, произошло, как ни удивительно, в школе. В четвертом классе к ним пришла новая учительница Лидия Владимировна Лебедева. И это знакомство, пожалуй, стало для Беллы Ахмадулиной судьбоносным.

В четвертом классе появилась учительница Лидия Владимировна Лебедева, очень странная, суровая, громоздкая и при этом какая-то стройная, видимо, от необыкновенной порядочности человеческой. Это было даже не изящество фигуры, а какая-то порядочность, которая ее съедала. Она, например, не могла ставить хорошие оценки тем, кто этого не заслуживал, и так далее. И вот тут я стала очень заниматься, то есть я возлюбила и потом всегда любила почерк, грамоту. И она это тоже во мне любила, что я люблю так буквы, что я аккуратно пишу. Я говорила:

– Лидия Владимировна, позвольте, я напишу вам что-нибудь.

И она мне говорила, что пусть я пишу и пишу, то есть я имела в виду не сочинения, а просто писать, писать. Я хорошо понимала, что буквы, сложение букв, их череда – во всем этом такой великий смысл, он так много значит. Ее удивляло мое внимание к буквам, а у меня были книги старые, со старыми буквами.

По просьбе Лидии Владимировны Белла даже занималась с отстающей девочкой, хотя сама та девочка ее нисколько не интересовала, а общественные нагрузки она и вовсе терпеть не могла. Но чтобы порадовать человека, который ей очень нравится, она всегда была готова взвалить на себя любые, даже очень неприятные, обязанности. Кстати, первая полюбившаяся ей учительница, Надежда Алексеевна, тоже давала ей общественную нагрузку – назначила ответственной за чистоту классной доски. Маленькую Беллу эти задания только раздражали (что не мешало ей старательно их выполнять), но, похоже, опытные и внимательные учительницы видели, что она нуждается в социальной адаптации.

Сама она наверняка возразила бы – она не чувствовала себя нуждающейся в людях, внимании, да и вообще во всем окружающем мире. Она с детства была самодостаточной, внутренне свободной и вообще была направлена в себя, а не

наружу. Но неизвестно, какой была бы ее судьба, если бы не усилия учителей, бабушки и мамы помочь ей вписаться в советское общество. Ей и так немало доставалось за то, что она не такая, как все.

Кстати, Надежда Макаровна, будучи переводчицей, владеющей английским, французским и японским, пыталась научить языкам и свою дочь. Но, видимо, она не умела увлечь, пробудить интерес, повести за собой – не было у нее педагогического дара. А разумные практичные доводы для Беллы не годились – девочке, которая до третьего класса упорно писала только слово «собака», хотя знала наизусть почти всего Пушкина, были абсолютно безразличны разговоры о хорошей работе, зарплате и тому подобных приземленных вещах. Но Надежда Макаровна сделала «ход конем» – привела в качестве учителя американца, не говорившего по-русски. Звали его Юджином, и он был как раз из тех людей, к которым Белла не могла остаться равнодушной, – странный, плохо одетый, с печатью пережитых страданий на лице. Трудно теперь сказать, сколько психологии было в этом выборе, вполне возможно, Надежда Макаровна ни о чем таком и не думала, а просто хотела найти в качестве учителя носителя языка, но ход оказался удачным – Белла прониклась загадочным Юджином, подружилась с ним и начала быстро учить английский язык. А когда тот перестал приходить, вновь забросила.

Но возвращаясь к Лидии Владимировне. Она скоро пострадала за свою принципиальность, которой так восхищалась Ахмадулина, – ее выставили из школы за то, что в ее классе была слишком низкая успеваемость. А на самом деле Лидия Владимировна просто ставила ученикам те оценки, которые они заслужили. Если бы провели проверку знаний учеников, скорее всего выяснилось бы, что в ее классе уровень знаний выше, чем у других. Но в то время, как и сейчас, руководство школ нисколько не интересовали реальные знания школьников, статистика успеваемости была важнее. Да и можно ли их винить? Что требуют от школ, то они и делают. А всем руководящим инстанциям от РОНО до Министерства образования нужна только хорошая статистика.

Но ученики Лидии Владимировны не захотели мириться с несправедливостью и решили бороться. «Тогда мы всем классом, – вспоминала Ахмадулина, – это был класс «Б», я всех до сих пор помню, никого уже в живых-то нет, наверное, но, может быть, может, кто-то есть. И вот мы пошли, я все это стала возглавлять. Мы должны сказать, что нельзя так, нельзя так жить, нельзя ведь. Это же при нас, при нас совершается такая

несправедливость. Все со мной согласились. А куда надо идти? Ну, наверное, в РОНО. И пойти, и сказать, что учительница, которая была наша, была очень хорошая учительница, она несправедливо исключена из школы, несправедливо. И мы пошли. И мы так гордо шли, я помню, это была первая такая демонстрация».

Они пришли в РОНО, рассказали, что просят за свою учительницу, которую несправедливо уволили, но в ответ услышали только: «Пошли отсюда вон, и чтобы ноги вашей здесь не было». А когда попытались настаивать, их попросту исключили из школы. Сразу весь класс.

Белла была примером преданности не только поэзии, но и примером гражданского благородства. Она всегда бесстрашно выступала за тех, кто попадал в беду. В будущем молодые поэты должны понять, что поэтическое мастерство профессиональное, если они хотят быть самостоятельными голосами в России, неотделимо и от гражданской совести.

Евгений Евтушенко, поэт, первый муж Беллы Ахмадулиной.

Нет, конечно, в Советском Союзе было гарантированное среднее образование, и всех учеников приняли в другие школы, которые они благополучно окончили. Но главное было сделано – бунт задавлен в зародыше. «А мы были страшно дружны, потому еще, что с одной улицы, в одном возрасте. И нас перевели, вот выгнали всех из этой школы в другую школу, всех расформировали по разным классам. Мы договорились в честь бунта идти без портфелей, сопротивляться учителям, но на самом деле потом ничего из этого не вышло», – рассказывала Ахмадулина. И действительно, что можно было сделать в одиночку? Все участники бунта быстро перегорели, в том числе и Белла. Ее захватили другие дела, другие переживания, разве что в душе остался какой-то осадок, чувство собственного бессилия. Но она уже привыкла жить с этим чувством…

Важнее другое. Белла – возвышенная, задумчивая, «инопланетная» девочка, интроверт и индивидуалистка – подняла бунт. Более того, она подбила на него одноклассников, организовала его и возглавила. Что это было? Обостренное чувство справедливости? Она часто видела обиженных и несчастных, сочувствовала им, любила их, но, похоже, в душе всегда понимала, что ничего не может для них сделать. Совсем ничего, хоть в лепешку разобьется. Ей оставалось только страдать вместе с ними. А в случае с Лидией Владимировной ей на миг показалось, что она может что-то сделать, может добиться справедливости. И ей бы это удалось, поддержи школьников хоть

один неравнодушный взрослый. Однако, скорее всего, строптивая учительница раздражала всех – руководство школы, родителей, чиновников, других педагогов. Никому не нужна была справедливость, нужны были только хорошие оценки.

Белла проиграла эту борьбу. Но первый и главный шаг к той Белле Ахмадулиной, которую мы знаем сейчас, был сделан. Как она сама написала в стихотворении, посвященном Надежде Мандельштам:

> Способ совести избран уже
> и теперь от меня не зависит.

Я бы не хотела проводить параллелей между нею и другими поэтами, поэтому скажу только о своём впечатлении от общения с ней. Она была начисто лишена надменности, элитарный снобизм был чужд ей, и она не терпела его проявления в других. Она не признавала идолопоклонничества, лести, пустых комплиментов. Любила прямые, открытые отношения и при всём высоком строе её поэтической мысли была проста и искренна с людьми. Но самое главное – она была высокоморальным человеком. Мне рассказывал Арон Каценелинбойген, что, став выездной в те годы, когда это далеко не всем было позволено, она с отвращением говорила о той двусмысленной роли, которую, не желая того, играла. Она понимала, что волей-неволей создаёт ложное впечатление о свободном духе советского общества, выезжая за границу, и открыто говорила о том, что кается, играя роль «священной коровы». Почти как в стихах, где она писала: «в чудовищных веригах немоты / оплачешь ты свою вину пред ними». Она оплакала. Это, по моему мнению, и отличает её существенным образом от многих её собратьев по перу, стремившихся скорее оправдать себя, нежели покаяться.

Вера Зубарева, поэтесса.

ЭТО Я…

Это я – в два часа пополудни
Повитухой добытый трофей.
Надо мною играют на лютне.
Мне щекотно от палочек фей.

Лишь расплыв золотистого цвета
понимает душа – это я
в знойный день довоенного лета

озираю красу бытия.

«Буря мглою…», и баюшки-баю,
я повадилась жить, но, увы, –
это я от войны погибаю
под угрюмым присмотром Уфы.

Как белеют зима и больница!
Замечаю, что не умерла.
В облаках неразборчивы лица
тех, кто умерли вместо меня.

С непригожим голубеньким ликом,
еле выпростав тело из мук,
это я в предвкушенье великом
слышу нечто, что меньше, чем звук.

Лишь потом оценю я привычку
слушать вечную, точно прибой,
безымянных вещей перекличку
с именующей вещи душой.

Это я – мой наряд фиолетов,
я надменна, юна и толста,
но к предсмертной улыбке поэтов
я уже приучила уста.

Словно дрожь между сердцем и сердцем,
есть меж словом и словом игра.
Дело лишь за бесхитростным средством
обвести ее вязью пера.

– Быть словам женихом и невестой! –
это я говорю и смеюсь.
Как священник в глуши деревенской,
я венчаю их тайный союз.

Вот зачем мимолетные феи
осыпали свой шепот и смех.
Лбом и певческим выгибом шеи,
о, как я не похожа на всех.

Я люблю эту мету несходства,
и, за дальней добычей спеша,

юной гончей мой почерк несется,
вот настиг – и озябла душа.

Это я проклинаю и плачу.
Пусть бумага пребудет бела.
Мне с небес диктовали задачу –
я ее разрешить не смогла.

Я измучила упряжью шею.
Как другие плетут письмена –
я не знаю, нет сил, не умею,
не могу, отпустите меня.

Это я – человек-невеличка,
всем, кто есть, прихожусь близнецом,
сплю, покуда идет электричка,
пав на сумку невзрачным лицом.

Мне не выпало лишней удачи,
слава богу, не выпало мне
быть заслуженней или богаче
всех соседей моих по земле.

Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою –

позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моем и на их языке.

Взросление

При всей своей уязвимости, я чувствую себя счастливой, потому что жизнь постоянно преподносит подарки моему зрению и слуху. С детства я ощущала в себе какую-то тесную соотнесенность с явью, сильное ощущение выпуклости линий, красок и звучания мира. А стихотворение может родиться из какого-то вдруг неожиданного изгиба в воздухе, к которому присоединяется звук. И такие стихи, родившиеся из ничего, из звука, обычно бывают самыми любимыми.

После того как Лидию Владимировну уволили, а бунтовавший класс расформировали, к школе Белла окончательно охладела. Училась, потому что надо (все-таки ей было уже не семь лет, и она понимала, что школу все равно придется окончить), и, кстати, хорошо училась, родители даже рассчитывали, что она получит серебряную медаль. Но если гуманитарные науки давались ей удивительно легко, то с математикой дела обстояли куда хуже – ей это было неинтересно и непонятно, а смысла тратить силы на неинтересное и непонятное она не видела. Когда же на нее начали давить, ее впечатлительная натура отозвалась ночными кошмарами про математику, а знаний все равно не прибавилось.

Экзамен по математике она сдала с помощью одноклассницы, золотой медалистки, которая дала ей списать правильный ответ. Но… Белла Ахмадулина не была бы собой, если бы с ней ничего не произошло – она фактически сама себя «завалила», сделав грамматическую ошибку в письменной работе, и серебряная медаль ей так и не досталась.

Случайность? Да. Но для Беллы Ахмадулиной такая случайность – точно частный случай закономерности. Она знала, что не заслужила серебряную медаль, она не хотела ее получить, и как бы ни старалась угодить родителям, мечтавшим об этой медали, так ее и не получила. Может, ее и ругали, зато на душе у нее было легко.

Но это все будет немного позже. А пока, после увольнения любимой учительницы и разгона класса, в котором у Беллы были друзья, школа перестала играть в ее жизни важную роль, снова превратившись в обычную обязаловку. Но зато в ее жизни появились литературный и театральный кружки в Доме пионеров, а главное – замечательные люди, которые этими кружками руководили. Они первыми… возможно, даже не увидели, а почувствовали ее необычайную одаренность и подтолкнули

развитие ее таланта.

«Дом пионеров Красногвардейского района на Покровском бульваре, – вспоминала Ахмадулина, – в чудесном старинном особняке, я не знаю чьем, каких прекрасных, несчастных и уничтоженных людей, там были замечательные так называемые кружки для тех, кто чем-то занимается. И там были какие-то хорошие люди, в этом старом, чудесном доме на берегу Покровского бульвара, прямо на краю его, вблизи Чистых прудов, и занимались такие разноцветы. Там занимались в студии изо Игорь Шелковский, потом в Париже живший, надеюсь, и сейчас тоже, Левенталь. Я ходила в литературный кружок, которым руководила Надежда Львовна Победина, у меня от нее остались светлые воспоминания. У нее там были печальные молодые стихотворцы. Настрой был общий заунывный и печальный. И вот самый главный был по фамилии Неживой, мальчик, который считался самым одаренным. К сожалению, его фамилия потом сбылась и превратилась в подлинность».

Стихи Беллы Ахмадулиной – это стихи женщины, которая не позволила себе быть несчастной. По-видимому, посчитала это недопустимым жеманством. Или, возможно и скорей всего, посчитала, что ей это не по чину. (Вот Ахматова – другое дело. Ей было можно.) И это ахмадулинское ненесчастье – самое ценное в ней, самое дорогое и самое честное. Ибо мы – люди, усвоившие весь XX век и первые 10 лет этого, – больше не имеем права быть несчастными.

Просто потому, что знаем о времени и о себе нечто такое, что не позволяет нам этого. Быть горькими, беспощадными, жесткими, манерными и трагическими, смешными или жалкими – да.

А вот несчастными – нет.

Ни Бродский, ни Ахмадулина, ни Шварц – такие вещи себе уже не разрешали. И нам – даже не стоит и начинать.

И это самый главный урок Беллы Ахмадулиной, который она нам дала.

Дмитрий Воденников, поэт и эссеист.

Этот Дом пионеров и школьников Красногвардейского района (такое было его полное название), сыгравший важную роль в жизни Беллы Ахмадулиной, располагался на Покровке, в доме номер 22, на втором этаже. Этот некогда роскошный особняк в редком для Москвы стиле растреллиевского барокко, известный как «дом-комод», принимал в своих стенах многих великих людей. В те времена, когда он был особняком Трубецких, туда

ездил учиться танцам юный Пушкин, там заключали помолвку родители Льва Толстого, позже там квартировал Дмитрий Менделеев. Когда вдова Трубецкого продала особняк, в нем сделали мужскую гимназию, в которой учились Константин Станиславский, Владимир Соловьев и Николай Жуковский.

После революции дням славы особняка Трубецких, казалось бы, пришел конец. Его отдали сначала под общежитие, потом под коммунальные квартиры, и нетрудно представить себе, в каком состоянии он был после войны. Но когда в «доме-комоде» разместили Дом пионеров, он снова получил шанс войти в историю. Хотя бы потому, что туда ходила заниматься Белла Ахмадулина.

В 1952 году на сессии Красногвардейского райсовета директор этого Дома пионеров Д. Г. Гриль рассказывал о том, что в кружках авиамоделирования, художественном, драматическом, литературном и других занимается более шестисот школьников. И это несмотря на то, что условия их занятий были просто ужасны: тесно, холодно, потолок протекал. Кружки были плохо оснащены, не хватало инструментов и оборудования. Плюс к тому в Доме пионеров постоянно толклись посторонние – сотрудники других организаций, размещенных в том же здании (им было удобнее проходить через помещения Дома пионеров), и все еще не до конца расселенные жильцы коммуналок.

Но, несмотря на все перечисленное, судя по воспоминаниям очевидцев, детей невозможно было отправить вечерами по домам, они готовы были даже ночевать в Доме пионеров. Настолько там был отличный педагогический коллектив. Кружок рисования вела Елена Алексеевна Иванова, литературы – Надежда Львовна Победина, мальчики строили модели самолетов и участвовали в соревнованиях юных авиамоделистов под руководством Василия Никитича Насонова. Педагог-географ Грант Александрович Генженцев устраивал с ребятами походы по Подмосковью и дальние экспедиции по стране, в основном по архитектурным достопримечательностям и памятным местам Великой Отечественной войны.

Чаще всего истории про такие прекрасные учреждения заканчиваются печально – талантливых педагогов разгоняют, творческую инициативу загоняют в рамки, а здание вообще отдают каким-нибудь чиновникам. К счастью, Дому пионеров и школьников Красногвардейского района повезло гораздо больше. Вскоре за счет отселения жильцов и вывода учреждений ему отдали весь второй этаж «дома-комода», с актовым залом, фойе и комнатами для кружков. И даже сделали там ремонт. Так что, Дом пионеров просуществовал еще достаточно долго, и среди его

воспитанников (даже если не считать Ахмадулину) было немало ярких творческих личностей, таких как театральный художник Валерий Левенталь, радист полярной экспедиции Анатолий Мельников или писатель Сергей Владимирович Александрович, который, кстати, посвятил своему наставнику Гранту Александровичу Генженцеву повесть «Лето с капитаном Грантом».

Мне доводилось повздорить со многими знаменитыми писателями, ну, с некоторыми, некоторыми. Но вот с Чуковским никто не собирался вздорить, а вот я… Он действительно написал мне, обвинил Надежду Львовну Победину в каком-то пессимизме, что кружок был какой-то такой, очень заунывный, все предавались печали. И мы встретились, но уже прошло какое-то время, я на солнце так иду, и идут Корней Иванович Чуковский и Катаев. Корней Иванович очень любезно здоровается. Но я его костров не навещала, его известность, она для меня была – пшик. И вот он мне говорит:

– Здравствуйте, здравствуйте, прекрасная барышня Белла Ахмадулина.

Приблизительно так. Он помнил, как меня зовут. Запомнить трудно, но так, на звук.

– Вы знаете, вы причинили мне печаль, а потому что я написал вам письмо, где я укорял Надежду Львовну Победину, я откуда-то знал про этот кружок, и вы, вы мне не подумали ответить.

Но я еще тогда молода была:

– Корней Иванович, я получила ваше письмо и прошу прощения, что я на него не ответила, оно показалось мне несправедливым и даже жестоким в отношении Надежды Львовны Побединой, которую вы упоминаете.

Ну, на самом деле это была дерзость. Катаев так расхохотался, рассмеялся и говорит:

– Корней Иванович, что ты там детей какой-то печали учишь? Ты лучше бы шалман здесь построил, вот на этом месте, вместо библиотеки шалман бы построил, а то опечалишься здесь.

Они шутили так, они дружили. Чуковский вкратце объяснил, что в этом кружке пишут очень печальные какие-то стихи, но и плохие, кстати. Нет, то, что плохие, это я говорю, но что они были печальные, это было как раз хорошо, потому что как бы сопротивлялись эти молодые существа, они сопротивлялись всему вот веселью так называемому или какой-то лжи, которую все ощущали, ощущали и дети. А Надежда Львовна, навряд ли она была писатель большой, но то, что она писала о печали, – это воспитывало. Ну, в общем, на этом наши отношения с Чуковским пресеклись. Кроме того, я не могла простить Корнею Ивановичу,

что, первоначально поздравив Пастернака с Нобелевской премией, он больше не появился в его доме, когда началась травля.

Здесь, наверное, надо сделать небольшое отступление и обратить внимание на слова Ахмадулиной: «что они были печальные, это было как раз хорошо, потому что как бы сопротивлялись эти молодые существа, они сопротивлялись всему вот веселью так называемому или какой-то лжи, которую все ощущали, ощущали и дети».

В 1946 году среди выпускников школ одного из крупных областных городов Советского Союза был проведен любопытный письменный опрос, чтобы выяснить, какие у них интересы и жизненные планы. Опросили сто шестьдесят три человека. Вряд ли все были совершенно откровенны, но и повально подозревать выпускников в неискренности тоже нет повода.

Результаты опроса показали, что в большинстве своем недавние школьники вполне соответствовали требованиям, предъявляемым к советской молодежи. На вопрос, как они предпочитают проводить свой досуг, половина ответили, что читают, многие указали занятия спортом. Любимыми писателями в основном называли Горького, Льва Толстого, Пушкина, Лермонтова, Шолохова, Маяковского, Фадеева, Николая Островского. Никто из запрещенных и даже не рекомендуемых писателей назван не был.

Любимым литературным героем у 15 % опрошенных оказался Павел Корчагин (герой романа Николая Островского «Как закалялась сталь»), после него называли Андрея Болконского, Татьяну Ларину, Павла Власова (герой романа Горького «Мать»), Наташу Ростову. Правда, некоторые школьники отдали предпочтение героям, которых советская педагогика не одобряла, – Платону Каратаеву, Остапу Бендеру, Нехлюдову, Печорину. Впрочем, педагогов больше беспокоило не то, что юноши и девушки любят идеологически неправильных персонажей, а то, за что именно они их любят. Повышенный интерес выпускников к так называемым вопросам «любви и дружбы» считался опасным и ведущим в «мир мещанских иллюзий».

Беспокоились они не зря – молодежи послевоенных лет было тесно в навязываемых рамках официальной идеологии, и она все чаще стала организовываться в разнообразные кружки. Чаще всего те не носили идеологической направленности – подростки не думали ни о какой политике, не собирались подрывать никакие основы социалистического строя, они просто неосознанно сопротивлялись навязываемой им фальши,

постоянной идеологизации всего вокруг, включая любовь, дружбу и даже самые бытовые вещи. Так, например, в Челябинске кружок, который посещали ученицы старших классов, назывался «Итальянская республика», и в нем обсуждали то, о чем не принято было говорить в школе, в основном личные проблемы, типичные для 15–16-летних девушек.

Но даже такие организации вызывали у властей беспокойство, тем более что после войны наметилась тенденция уменьшения рядов комсомольцев. Все в том же Челябинске среди учащихся вузов и техникумов в 1940 году комсомольцами было 65 %, а в 1946 году – только 42 %. С одной стороны, это объяснялось последствиями войны (ограничение приема в комсомол во время войны, более зрелый послевоенный состав учащихся). Но все больше молодых людей и сами отказывались становиться на комсомольский учет, заявляя, что в комсомольской организации «жизнь скучная и неинтересная».

Да и не все молодежные неофициальные организации были так же безобидны, как «Итальянская республика» челябинских старшеклассниц. В вузах студенты были настроены куда более радикально, и их группы и кружки не без оснований казались властям опасными. Так, например, в Ленинграде студенты филологического факультета ЛГУ организовали кружок «Искатели правды», где обсуждали проблемы, связанные с литературой. Причем иногда весьма близкие к политике – так, например, они говорили о том, что Ахматова была неправильно раскритикована и что советские писатели не могут в своих произведениях открыто высказывать свою точку зрения, так как «над литературой довлеет партия».

Что-то подобное высказывали и участники литературного кружка из Ростовского госуниверситета, называвшие себя «настоященцами». Они говорили, что советская литература во многом ущербна, поскольку концентрируется на положительном примере и в массе своей является невыразительной и бесцветной.

«В Литературном институте студенты Беленков, Штейн, Привалов, Рошаева, Шелли Сорокко и Сикорский провозгласили создание нового литературного течения, названного ими «Необарокко», – пишет Георгий Андреевский. – Беленков и его единомышленники утверждали, что сегодня в советской литературе застой. Война должна положить ему конец. Подражатели классики, типа Симонова, должны уступить место новым силам в литературе. Настоящая литература должна перестать ориентироваться на обывателя, она должна ориентироваться на высококультурного и образованного читателя». Речь, между прочим, о том самом институте, в который

через несколько лет поступила Белла Ахмадулина.

Студенты механико-математического факультета МГУ организовали кружок «Тесное содружество», у которого вообще не было политической окраски и целью которого, по словам его участников, было всего лишь сохранить дружбу после окончания университета. Но им не повезло больше других – дело было в 1949 году, на пороге уже была борьба с «безродным космополитизмом», а в кружке были в основном евреи. Так что в конце концов всех участников исключили из партии и комсомола «за попытку создать группу, противостоящую комсомольской организации, за распространение националистических настроений и слухов».

В Челябинском педагогическом институте студенты выступили с инициативой организовать свой литературный альманах «Студент». Руководство института запретило, но как это часто бывает, запрет лишь подогрел интерес студентов, и они создали подпольный альманах «Снежное вино», в котором были в основном стихи в традициях русского символизма.

Энтузиасты успели выпустить два номера, а потом ими заинтересовались специальные органы, и в итоге почти все они были приговорены к разным срокам заключения по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР за «антисоветскую агитацию», создание «антисоветской организации», «террор» и даже «измену Родине».

«Никаких политических задач мы перед собой не ставили, да и политических концепций у нас не было, – вспоминал участник одного из таких кружков, впоследствии известный скульптор Эрнст Неизвестный, с которым Ахмадулина была очень дружна. – Я не был даже комсомольцем, а один из моих друзей был членом партии. Однако все мы понимали, что самообразовываться надо хорошо и что чтение, скажем, Троцкого, или Святого Августина, или Орвелла, или Бердяева наказуемо. Поэтому и нужна была конспирация… Еще до самиздата мы частично доставали, а частично копировали весь круг «веховцев»… Кроме того, мы слушали доклады по теософии, по генетике, по тем дисциплинам, которые считались запретными в Советском Союзе. Если бы нас власти спросили – занимаемся ли мы политикой, мы вынуждены были бы ответить искренне, что нет…»

Но были и на самом деле политические кружки. Благодаря автобиографической повести А. Жигулина «Черные камни» стала известна история Коммунистической партии молодежи (КПМ) – молодежной группы, созданной в 1947 году в Воронеже. В Москве в конце 40-х – начале 50-х годов действовали аналогичные кружки старшеклассников и студентов: «Армия революции»

и Союз борьбы за дело революции (СБДР). Есть информация о таких кружках и в других городах.

«Да, мы были мальчишки 17–18 лет, – писал Жигулин. – И были страшные годы – 1946-й, 1947-й. Люди пухли от голода и умирали не только в селах и деревнях, но и в городах, разбитых войною, таких, как Воронеж. Они ходили толпами – опухшие матери с опухшими от голода малыми детьми. Просили милостыню, как водится на великой Руси, Христа ради. Но дать им было нечего: сами голодали. Умиравших довольно быстро увозили. И все внешне было довольно прилично… Да, мы пережили тот страшный голод. И отвратительно было в это время читать газетные статьи о счастливой жизни советских людей… Вот от чего дрогнули наши сердца. Вот почему захотелось нам, чтобы все были сыты, одеты, чтобы не было лжи, чтобы радостные очерки в газетах совпали с действительностью…»

Из членов московского Союза борьбы за дело революции трое были приговорены к расстрелу, десять человек – к двадцати пяти годам и трое – к десяти годам лишения свободы. Из членов Марксистской рабочей партии (Ленинград) трое были расстреляны, семеро получили по двадцать пять лет, двое по десять и трое отделались одним годом за «недоносительство». Подобным же образом были наказаны и участники прочих аналогичных групп и кружков.

Не секрет, что каждый человек для другого – это какая-то ассоциация. Цвет, запах, звук. Или же – маленькая деталь. Вздернутый нос, перстень на пальце, галстук в горошек…

Когда говорят: Белла Ахмадулина, то лично у меня возникает целая гамма ассоциаций. В том числе и выражение «сосед-литературовед» – известный персонаж из ее поэзии. Я сразу слышу необычное звучание ее голоса. Беззащитного, с надломом. Все – общеизвестно широкой аудитории.

Белла Ахмадулина… Я вновь произношу это имя. И в памяти всплывает то, что не общеизвестно: несколько встреч с этой необыкновенной женщиной, великим мастером поэтического слова. Встреч мимолетных. Мгновенных. Но ярких, как вспышка…

«Пока есть в тебе силы, возжигай светильник любви при каждом общении и с нежностью радуй и приветствуй всякое сердце», – проповедовали мы великие идеи. Это сейчас появилась некая ирония и скептицизм. А тогда мы верили, что силой слова можно перевернуть весь мир. Белла Ахмадулина была значительно старше нас, но тоже верила в это. Она – поэт.

Лариса Черникова, радиожурналист, прозаик.

Такой была атмосфера среди молодежи, когда Белла Ахмадулина училась в старших классах и посещала кружки Дома пионеров. Пожалуй, ей, да и всей отечественной литературе, очень повезло, что она была еще школьницей. Будь она немного постарше, ее могло бы захватить какое-нибудь радикальное студенческое движение – с ее обостренным чувством справедливости это было бы неудивительно. В будущем ее еще исключат из института за нежелание молчать и прогибаться. Но сталинские годы – это не хрущевские и даже не брежневские, тогда она так легко бы не отделалась.

К счастью, она была еще слишком юной, и ее протест в то время ограничивался грустными стихами в литературном кружке и попытками неподчинения взрослым, которые все пытались заставить ее взяться за ум и готовиться к приличной профессии. Она вспоминала, как к ним приходили друзья родителей и задавали ей один из тех дурацких вопросов, которые так бесят детей: «Ну, а кем ты хочешь быть?» Она отвечала: «Я буду литератором». «Гости ужаснулись, – насмешливо рассказывала она. – Подумали, что за чудовищный ребенок такой, говорит, что будет литератором каким-то».

На самом деле о том, чтобы действительно стать писателем или поэтом, Белла тогда не думала. Она очень много читала, пробовала что-то сочинять, даже выступала со своими стихами в пионерском лагере, но к этим литературным опытам серьезно не относилась. Она писала как дышала – какая же это работа? Это часть жизни, вот и все. Причем в дальнейшем, повзрослев и став признанным поэтом, она не изменила отношения к творчеству. Дочь Беллы Ахмадулиной Елизавета Кулиева говорила: «Писать – для мамы было высшим благом, все равно что для гурмана вкусно поесть, выпить отличного вина».

А что касается самих первых проб пера, то с высоты прожитых лет Ахмадулина вспоминала о них со снисходительной насмешкой. Одним из ее любимых авторов была Бичер Стоу, автор «Хижины дяди Тома», что, в общем, вполне логично – кого же еще могла любить девочка, которую почти с младенчества тянуло ко всевозможным несчастным, страдающим и обездоленным. «Вот эта Бичер Стоу очень на меня влияла, – рассказывала она, – и в стихах у меня все время был несчастный какой-то мальчик, негр. И все время какие-то плантаторы, какие-то бедные, измученные, ни в чем не повинные негры. Но, к счастью, меня от этого несколько выручила замечательная женщина по фамилии Смирнова».

Было это так: однажды Белла решилась на невиданный для себя поступок – отправила свое стихотворение в газету

«Пионерская правда». Ни до, ни после такого не было, ей всегда казалось неловким навязывать кому-то свое творчество. Но, видимо, очередная история про несчастных негров, которые так любила печатать советская пресса, так запала ей в душу, что она послала в газету стихотворение о страдающем на плантациях бедном Томе. Вскоре ей пришел ответ от той самой женщины по фамилии Смирнова, которая писала: «Милая девочка, я вижу, что ты очень страдаешь за всех, кто страдает. Это очень милосердно, но все-таки ты же в школе учишься, у тебя там есть дети другие, а ты видишь все какую-то такую даль, где все кто-то страдает. Да, надо жалеть, конечно, особенно каких-то отдаленных и беззащитных, но, может быть, ты посмотришь вокруг себя и увидишь то, что тебе ближе».

Это письмо произвело на Ахмадулину настолько сильное впечатление, что она запомнила на всю жизнь и его, и женщину, которая его написала. «Иногда такие умные женщины попадались среди всяких жестокостей, с которыми сталкивается ребенок», – говорила она. Спустя много лет им довелось встретиться и поговорить о письме и о том, как сильно оно повлияло на юную Беллу и ее творчество. Она действительно огляделась вокруг и стала искать темы более понятные и актуальные для московской школьницы, чем далекие негры на американских плантациях. Впрочем, и об этом она говорила с иронией: «Я стала писать что-то из более близкой мне жизни, но тоже неудачное».

Что-что, а посмеяться над собой она всегда умела. Кстати, когда Ахмадулина была уже знаменитым поэтом и много выступала, читая свои стихи, ее необычный голос послужил «прообразом» для голоса Пятачка, которого озвучивала Ия Саввина, во всем прекрасно известном мультфильме про Винни-Пуха. Были люди, у которых это вызвало возмущение, но сама Ахмадулина только посмеялась, позвонила Саввиной и шутливо сказала ей: «Ия, какую ты мне свинью подложила!»

Возвращаясь к детству Ахмадулиной и ее первым попыткам творчества, нельзя обойти вниманием и еще один жанр, жертвой которого в юные годы становились практически все более-менее творческие люди, включая даже гениев (в том числе и Пушкин). Сейчас его называют фанфикшеном, и обозначает это слово любительское сочинение по мотивам популярных оригинальных литературных произведений, произведений киноискусства (кинофильмов, телесериалов, аниме и т. п.), комиксов, компьютерных игр и т. д. Беллу Ахмадулину этот жанр тоже не обошел стороной – она написала продолжение «Горя от ума». И по-видимому, оно стоило внимания, потому что ее учительница много лет хранила его у себя, а ведь через ее руки проходили

сотни детских сочинений. К сожалению, потом сама Ахмадулина, считавшая, что все эти детские пробы пера не стоят внимания, сожгла свое творение в камине.

Мне не хочется писать о ней политкорректно, с этими вот девичьими придыханиями, которых и без меня навалом, в том числе и в мужском исполнении (этот тип женоподобного мужчины ею же и заклеймен, это она стыдилась, что проводит время в обществе таких мужчин, «что и в невесты брать неосторожно»). Мне хочется вспомнить всю ее феерическую жизнь – начиная с экзотического итальянско-татарского происхождения (итальянские корни матери-переводчицы, татарская кровь отца Ахата Валеевича, крупного советского чиновника).

Она писала много и рано, но манеру свою нащупала лет в пятнадцать, когда из круглощекого подростка вдруг у всех на глазах стала получаться красавица. Эту детскую пухлость она, кстати, сохраняла еще долго, – обреченная худоба, острые жесты появились позже, в семидесятых. Ее очень рано заметили, первым – Павел Антокольский, называвший ее «птенчиком орла» и, кажется, немного в нее влюбленный. Она-то любила его явно и демонстративно, но – исключительно как учителя и старшего товарища; лучшие стихи из всех посвящений Антокольскому написаны именно ею.

Дмитрий Быков, писатель.

Кроме литературного кружка Белла ходила еще и в драматический, которым руководила Екатерина Павловна Перельман – талантливый театральный педагог, воспитавший немало будущих артистов, включая звезду «Эха Москвы» Константина Кравинского и народную артистку России Марину Гаврилову-Эрнст.

Там у Беллы дела шли тоже очень успешно – она легко научилась естественно держаться на сцене, а ее чувство юмора и самоирония способствовали тому, что она блестяще играла комические роли. «Например, в пьесе Розова про слепую девочку, которая называлась «Ее друзья», что ли, – вспоминала она, – я играла домработницу. В домработницах там я имела большой успех, сыграла так, что смеялся просто весь этот дом, домработницу я играла изумительно, это действительно. Это мне говорил Левенталь. Он сказал, что не забыл, потому что я изобразила какого-то хоть и курьезного, но и бедного человека. Я хорошо этим владела, потому что родители привлекали разных женщин для уборки, из разных городов. Разные характеры,

акценты, говор, повадки – целое сословие было. Они все мне много дали. Но это ладно. А вот маленькая сцена, чудная сцена, наверное, в каком-то прекрасном барском доме. Там я изображала Агафью Тихоновну».

Друзья и знакомые, посмотрев любительские спектакли с ее участием, в один голос заявляли, что ей точно нужно идти в актрисы. Но саму Беллу такая профессия совсем не привлекала. Ей было интересно играть, пробовать себя в разных ипостасях, плюс это опять же был некоторый протест против навязываемых ей дома взглядов о том, что она должна заниматься серьезным делом и выбрать, наконец, серьезную профессию. Ей постоянно приходилось отстаивать свою свободу заниматься тем, что ей нравится. «Оправдывая свое увлечение драматическим кружком, – рассказывала она, – я вспоминала Некрасова, родителям говорила, матери:

Отрада юношеских лет,
Подруга идеалам,
О сцена, сцена! не поэт,
Кто не был театралом.

Вот так, может быть, так оно и есть. А потом жизнь превращается в театр, приходится держаться. Но я никогда не занималась никакой техникой речи, всегда не выговаривала «л» и знала, что так для меня правильно».

В детстве сама она пострадала от удушающей любви, которая свойственна многим родителям. Это такой переизбыток чувств, подавляющий чрезмерной опекой. Бабушка была очень энергичным, волевым человеком. Вероятно, ее желание проникнуть во все закоулки существования дочери пугало маму, особенно если учесть необычность ее натуры, тонкость психики, потребность побыть наедине со своими мыслями.

Маме не хватало личного пространства, она ощущала повышенную заботу как зло. Поэтому всегда боялась наседать на нас со своей любовью, старалась дать детям больше воздуха. В ее случае кроткая любовь подразумевала очень сильные чувства, но при минимуме явного пригляда. Мама совершенно осознанно, четко формулируя для себя, предоставила нам немалую свободу.

Она никогда не сетовала: в детстве меня запрессовали… Но по ее поведению, привычкам, по тому, как ценила собственное уединение, уважала наше, вообще любого человека, это можно было понять.

Елизавета Кулиева, дочь Беллы Ахмадулиной.

Удовольствие, которое приносили Белле литературный и драматический кружки, закончилось внезапно и не по ее вине. Да и не по чьей – просто так сложились обстоятельства. Просто в один обычный зимний день пятнадцатилетняя Белла шла из Дома пионеров, где все ее радовало, где ее хвалили за отлично сыгранную роль Агафьи Тихоновны из гоголевской «Женитьбы» и восхищались ее стихами. Она упивалась своей небольшой, но такой приятной славой, размышляла о том, что, наверное, на самом деле станет литератором, мир казался ей прекрасным и удивительным, и как сама она говорила – «щеки так и горели, на них снег таял».

А около дома она увидела лужу крови.

Это погибла собака, маленький пудель. Домработница, как раз которую приблизительно я изображала, вывела без поводка. Я совершенно обезумела. И такой урок навсегда получился, что все похвалы – вздор по сравнению с подлинным горем. Мне было пятнадцать лет тогда, по-моему. И что все – вздор, есть только то, что серьезно. Ну, вот, жизнь – смерть. Погибшая собака.

И вот я была в таком состоянии, я почти не говорила, не ходила. А там вдруг, в этой квартире коммунальной, провели телефон, по которому, кстати, никто не звонил. Соседи не умели пользоваться, только мама иногда подходила и удивлялась, что меня к телефону, я даже его помню – 55 99 10. И вдруг меня зовут:

– Белла, пойди, тебя это.

– Алло.

И я слышу голос такой глубины, который был, конечно, только в прежние времена. А звонила как раз Мария Шкапская. Я не знала, что есть такая Шкапская, и вдруг мне… И вдруг дивный, низкий голос такой:

– Здравствуйте, милая, я знаю, вас Белла зовут, я знаю – вас постигло горе. Вы предаетесь такому отчаянию – в школу не ходите, ни с кем не разговариваете. Поверьте мне, я много живу, я вытерпела столько горя, следует жить и быть.

Я потом только ее стихи нашла, я не знала. Ну, вот, и она мне говорит, утешает от горя и говорит:

– Я вам, может быть, ближе покажусь, я слышала – вы что-то пишете, знаете, я тоже.

И таким изумительным, старинным, прекрасным голосом говорит:

– Но у меня даже должность есть. Я заведую клубом собачьим, где, в основном, водятся пудели.

Я потом нашла стихи ее и читала. Замечательные, лучше

моих дрянных. Она старинный была человек, прекрасный и еще, вот, заведовала этим клубом. И как-то я стала выздоравливать, стала выздоравливать…

…По суровым хожу дорогам,
по путанным тропинкам иду.
По пути суровом и строгом
ненадолго в твоем саду.
Рву цветы и сочные злаки,
молюсь имени Твоему.
Но ворчат за стеной собаки:
– Чужая в дому…

Мария Шкапская

У Марии Шкапской и Беллы Ахмадулиной действительно было много общего, несмотря на сорок с лишним лет разницы, не зря они сразу почувствовали друг в друге родственные души. Они не только обе были поэтами, причем близкими по ощущениям, вкладываемым в стихи, но и обе родились в смешанно-национальных семьях, обе обладали обостренным чувством справедливости и сострадания к чужим несчастьям, а главное (на тот момент) – обе очень любили животных, особенно собак. Вряд ли кто-нибудь другой смог бы лучше вывести Беллу из затянувшейся депрессии.

Их дружбе, к сожалению, не довелось продолжиться, Мария Шкапская вскоре умерла от инфаркта, но Ахмадулина запомнила ее навсегда. Более того, Шкапская в некотором роде продолжила то, что начала Смирнова, посоветовавшая жалеть не далеких негров на плантациях, а тех, кто находится рядом и тоже нуждается в сочувствии и помощи. С тех пор и на всю жизнь одним из правил Беллы стало не проходить мимо нуждавшегося в помощи животного. Она, конечно, помогала людям, многим сочувствовала, многих поддерживала, но именно «братья наши меньшие», которые полностью зависят от доброй воли человека, стали главным объектом ее заботы.

Господь наделил меня счастливым даром – восхищаться талантом других творцов. Еще мне хочется сострадать людям и животным. И я хотела, чтобы героем каждой моей истории стал Человек, любой, возможно, еще даже не рожденный.

Первая собственная собака появилась у Беллы уже после школы, когда она заработала свои первые в жизни деньги – в

журнале «Октябрь» напечатали ее стихи и заплатили ей семьдесят рублей. «Огромный гонорар», как говорила она, посмеиваясь над своим первым поэтическим «триумфом». Что это были за стихи, она даже не видела смысла вспоминать (хотя одним из них был «Черный ручей»), все равно, по ее мнению, они были кошмарными. Значение имело только то, что мать спросила ее: «И что ты собираешься делать с этими деньгами?» А она ответила, что купит собаку…

Этого первого пса она никогда не забывала, впрочем, все, кто терял питомцев, прекрасно это поймут, без каких-либо объяснений. А кто не любит животных, тот все равно не поймет, как ни объясняй.

Когда ее дочь Елизавету спрашивают, какой была Белла Ахмадулина, она отвечает: «У нее было доброе сердце. Она жалела животных и всех несла в дом. Голодным собакам, бездомным кошкам, голубю со сломанным крылом и даже крысе с перебитой лапой – всем давала приют и защиту». Да и на вопрос, какие качества они с сестрой унаследовали от своей необыкновенной матери, одним из первых называет именно любовь к животным: «Что еще мы точно взяли от мамы, так это хорошее отношение к собакам. Давным-давно зимой на даче она ежедневно или через день варила огромную лохань, кидая туда все, что имелось под рукой: кости, хлеб, крупу. Гигантский чан водружался на санки, она их тащила, а мы, маленькие, с мисками плелись следом в мороз с улицы Довженко на улицу Ленина, где обретались бездомные собаки. Аня восприняла невербализованный мамин наказ как призыв к действию: иди и спасай! У нее свои две собаки, при этом каких-то чужих везет в ветлечебницу, пристраивает по знакомым. Я тоже жалею животных, но сейчас у меня только кошка. Во время маминой болезни ее прозвали (маму это потешало) «маменькина кошка».

Это была та самая кошка, которая вместе с игрушечным мишкой составляла Ахмадулиной компанию в последние месяцы ее жизни. Она уже очень плохо видела, а кошка была заметного контрастного окраса – белая с черными пятнами, поэтому она ее довольно хорошо различала, и, по-видимому, ее это радовало. Елизавета Кулиева вспоминала: «Она очень хвалила кошку за эту ее особенность и, конечно, ужасно избаловала. «Какая она стала неженка, – сказал однажды мой муж, – просто маменькина кошка». Так у нее появилось новое прозвище, которое сразу понравилось маме и скоро стало единственным».

Любовь Ахмадулиной к животным была настолько велика, что со временем стала популярной темой для сплетен и желтой прессы. И чем знаменитее становилась Ахмадулина, тем больше

говорили об этой ее «странности». Когда они с Юрием Нагибиным (ее вторым мужем) похоронили свою любимую собачку по всем правилам людских похорон, их сочли едва ли не сумасшедшими. Газеты писали, что Нагибин – серьезный писатель, известный сценарист, – следуя прихоти жены собственноручно смастерил гроб для собаки и закопал его на своем дачном участке в присутствии многочисленных гостей, среди которых было множество знаменитостей, а потом на этом месте сделали настоящую могилу с цветами и надгробным памятником. Поступок Ахмадулиной называли «антисоветским», и кое-кто из соседей даже написал возмущенное письмо в Союз писателей о действиях этой «буржуазной семейки».

Сейчас, когда защита животных стала уважаемым делом и все больше людей относится к своим кошкам и собакам как к членам семьи, читать такие истории и смешно, и грустно. Ахмадулина и в этом опередила свое время, но как обычно в таких случаях, это приносило ей только славу «городской сумасшедшей» или еще хуже – «несоветского человека». Впрочем, ей было все равно. Она никогда не обращала внимания на мнение толпы.

В детстве у нас была замечательная кошка: мама купила ее для нас с сестрой на Птичьем рынке под видом русской голубой. Все мне говорили, что такой породы нет и что маму, как всегда, обманули.

Этой осенью, когда вдруг началось мышиное нашествие, в память о Мусе, которая прожила у нас шестнадцать лет, я стала искать в Интернете похожего на нее котенка – и нашла. Это был необыкновенной красоты кот, серый с голубым отливом, с зелеными глазами. Увидев его на фотографии, мы не раздумывали ни минуты и сразу же помчались за ним на другой конец Москвы. Маруся, моя дочка (ей четыре), знает, что к животным нужно относиться бережно, и все-таки бегает за Сергеем Сергеичем с одеялом и подушкой для куклы: хочет уложить его в кровать. Смотрю на нее и вспоминаю, как мы с Аней гонялись за нашей Мусей, пеленали ее и укладывали в кукольную коляску. Теперь пришла очередь Сергея Сергеича. Но наш кот не робкого десятка: он никого не боится, никогда не сопротивляется и только мурлычет, мурлычет. И мыши сразу все поняли. Сергей Сергеич похож на Мусю как две капли воды – теперь я точно знаю: русская голубая есть! Удивительно, но именно в тот раз маму не обманули!

У Муси всегда было множество котят. И вот однажды мы с мамой и Аней поехали на Птичий рынок, чтобы пристроить очередное потомство. К великой радости домочадцев, уставших

от шумной компании. Через пару часов возвращаемся, в руках у мамы варежка, а в ней сидит… крошечный коричневый пудель. Его назвали Вовой. Он был лично знаком с Анастасией Ивановной Цветаевой, и она всегда обращалась к нему на вы: «Здравствуйте, Вова. Как вы поживаете?»

В своей книге Марина Влади, описывая их визит с Высоцким к нам в Переделкино, рассказывает, что мы спали вместе с собаками, а старая няня кормила нас и случайных гостей чем придется. Да, дома царил беспорядок, всегда было много животных, а еще постоянные гости – и всем нужно было где-то спать и что-то есть. Но это же здорово! На мой взгляд, современный мир слишком стерилен. Теперь люди даже гостей не приглашают – не дай бог наследят. Но как жить без друзей? Я тоже стараюсь, чтобы у нас бывали люди. Надеюсь, Марусе будет что вспомнить. Мы живем в том же доме, где жила мама, но он нам не принадлежит, и скоро, вероятно, придется с ним расстаться.

Елизавета Кулиева, дочь Беллы Ахмадулиной.

Собаки были у Ахмадулиной всегда и занимали немалое место в ее жизни. Они присутствуют в рассказах ее друзей и знакомых, в мемуарах ее мужей, в воспоминаниях дочерей и тем более в ее собственных интервью. «Я, как Анастасия Ивановна Цветаева, слово «СОБАКА» пишу большими буквами, – говорила она. – С детства подбираю бездомных животных, приношу домой, а теперь и дочерям отдаю».

Если Ахмадулину в интервью спрашивали о собаках, ее было буквально не остановить, она могла рассказывать о них часами. Например, уже в последние годы был у нее шарпей Гвидон, получивший имя в честь князя Гвидона из «Сказки о царе Салтане». «Со мной Гвидоша обращается тактичней, чем с Борей. Никогда спозаранку не будит, – говорила Ахмадулина. – Хотя в Боре он просто души не чает. А поскольку Гвидон – китаец, то и обожает хозяина как-то по-китайски. Он перед ним преклоняется. Это его бог. Я вам сейчас расскажу, как он ходит к старой Бориной машине. Когда мужу пытаюсь передать эту сцену, он просит: «Умоляю, не надо. Не разрывай мое сердце». А дело в том, что Гвидон к этой машине ходит, как в церковь. Нынешней зимой в холода она простояла под снегом. Но прежде Гвидоша в маленькой «Шкоде» проводил много времени. И вот он вкрадчиво к ней подступает, медленно наклоняется, задумчиво нюхает, нюхает. Он еще не в курсе, что Боря купил новый автомобиль. Надо сшить чехлы, чтобы можно было пускать туда Гвидона. Но собака явно что-то чувствует. Приглядывается к незнакомой

машине, будто знает, что между ними есть связь. Вопросительно смотрит на меня. Я подтверждаю: «Твоя, Гвидоша, твоя».

Журналисты, бравшие у нее интервью для телевидения, тоже часто упоминали Гвидона. Они рассказывали, как Ахмадулина серьезно относилась к интервью, готовилась к ним, поднимала архивы и каждый раз за свои деньги сама вызывала гримершу, чтобы ее привели в порядок. И пока ее гримировали, Гвидон мог присутствовать, а вот муж не всегда. Ну а на время интервью все члены семьи, теперь уже и включая собаку, отправлялись в дальние комнаты. Ахмадулина понимала, что держать в узде столько времени ее балованного Гвидона будет трудно – он ревниво относился к чужим людям в квартире и однажды даже укусил за палец гримершу, решившую с ним познакомиться.

Кстати, этот шарпей Гвидон – собака загадочная. Вообще, удивительным образом все, что связано с Ахмадулиной, умудряется становиться загадочным, даже собаки. И конкретно с шарпеем таинственность в том, что у Андрея Вознесенского есть поэма «Шар-пей», которая, с одной стороны, перекликается с «Пациентом» Ахмадулиной, а с другой – сама полна стольких смыслов и подтекстов, что их обоих не раз спрашивали, есть ли связь между «Шар-пеем» Вознесенского и Гвидоном Ахмадулиной, и нет ли в поэме отголосков их прежних отношений. Но, судя по всему, Вознесенский этот секрет не открыл никому. Даже сама Ахмадулина говорила: «Там какая-то тайна, которую мне Андрей не открывает. Я очень удивилась, когда вдруг появилось его сочинение, спрашивала, что это означает, но ответа не добилась».

Зато всё – с ним: бел чайник, ал будильник,
кот – мглист, и, дни разлуки претерпев,
волнующий умы обличьем дивным
с ним – обожанья баловень, шар-пей.

Белла Ахмадулина, «Пациент».

Шар-пей – это память о блуде и чуде,
о псе-баламуте с бойцовскою грудью.
Побачим, сограждане, Бога ради,
Не все мы – собаки,
не все люди – бляди.
От сплетни шрапнельной и прочих скорбей
спасёт нас Шар-пей.

Андрей Вознесенский, «Шар-пей»

Но все-таки самой любимой породой со времен той самой первой собаки у Ахмадулиной оставались пудели. Был у нее, например, пудель Вося, названный в честь Владимира (Вовы) Войновича и Василия (Васи) Аксенова. Точнее, сначала он был Вовой, потом стал Вовой-Васей, а потом это имя сократилось до Воси. А пуделю Фоме она обязана знакомством со своим последним мужем Борисом Мессерером. Весной 1974 года он выгуливал собаку во дворе дома кинематографистов на улице Черняховского, около метро «Аэропорт». Это был пес его тогдашней возлюбленной – актрисы Эллы Леждей, с которой он жил в этом самом доме и считал себя вполне счастливым. Но тут во двор вышла Белла Ахмадулина со своим четвероногим любимцем – коричневым пуделем Фомой, и жизнь Мессерера с этого момента разделилась на две половины – до этой встречи и после.

«Белла живет через один подъезд от меня, в бывшей квартире Александра Галича, – вспоминал потом Мессерер. – Белла в домашнем виде. В туфлях на низких каблуках. Темный свитер. Прическа случайная.

От вида ее крошечной стройной фигурки начинает щемить сердце.

Говорим о собаках. О собаках, которые далеко не такие мирные, как кажутся сначала. Рикки старается затеять драку. Это ему удается, и он прокусывает Фоме нос. Капли крови. Белла недовольна. Я смущен. Вскоре она уходит. И вдруг я со всей ниоткуда возникшей ясностью понимаю, что если бы эта женщина захотела, то я, ни минуты не раздумывая, ушел бы с ней навсегда. Куда угодно».

Пожалуй, главный признак настоящего любителя животных – как раз то, что всю его жизнь можно пересказать через вот такие эпизоды, связанные с домашними любимцами. И в случае с Ахмадулиной этот признак работает на все сто процентов, особенно в том, что касается собак. Белла и собаки мелькают в воспоминаниях ее первого мужа Евгения Евтушенко, Белла и собаки (а иногда и кошки) постоянно присутствуют в знаменитом скандальном «Дневнике» ее второго мужа Юрия Нагибина, Белла, собаки и кошки в рассказах ее дочерей… И практически о каждом из своих друзей она могла рассказать какую-нибудь связанную с собаками историю. А если и не с собаками, то с какими-нибудь другими животными.

Так, например, она очень дружила с Аркадием Исааковичем Райкиным. Как-то раз он приехал на гастроли в Москву и поселился в подмосковном Доме творчества писателей «Переделкино». Ахмадулина, как и многие другие писатели, тоже

жила в Переделкино – ей нравилось это тихое место, без шума, без суеты, где можно было без помех спокойно работать. И вот в один прекрасный день она была в гостях у своих соседей, как вдруг кто-то сильно загрохотал в дверь их коттеджа. «Я открываю дверь, – весело рассказывала она, – там стоит человек, одет как разбойник. Соседи очень испугались, а разбойник им кричит: «Давайте ваши вещи, быстро!» Рядом с нами была собака, нет, не моя, это был бездомный пес, которого я кормила. И собака не лает, а виляет хвостом, чувствует своего. Собаки ведь умнее и нюхлее, чем люди. Я-то это замечаю, а соседи мои в страхе. Потом мне как-то не хватило выдержки не смеяться – и секрет был раскрыт. Я сказала: «Прошу вас, Аркадий Исаакович, входите».

В отличие от многих людей, которые считают ворон предвестниками зла, я всегда любила этих птиц, замечая их ум и, по-моему, присущее им чувство юмора, в особенности когда они заигрывают с собаками. Такое впечатление, что они смеются, когда пытаются дернуть собак за хвост, не больно, а так, в шутку.

Долгое время я любила уединяться, чтобы писать стихи, в очень живописном местечке вблизи Петербурга на берегу Финского залива. Вот там я обычно на рассвете ходила кормить чаек, и это хорошо знали вороны, особенно одна. Я ее всегда узнавала среди других, для нее всегда приберегала кусочек сыра и отдавала со словами «Вороне как-то Бог послал кусочек сыра».

Потом в июле там разразилась ужасная гроза, которая разорила гнездо этой вороны. И сразу после этого несчастья ворона стала прилетать за угощением ко мне на балкон. Она к тому времени очень хорошо знала мой голос и появлялась тут же, как только я крикну: «Ворона, где ты?» А соседний балкон расположен очень близко, и мой муж, художник Борис Мессерер, начал укорять меня, что люди могут решить, что я сошла с ума.

Я однажды встретила нашего соседа по балкону и поинтересовалась, не смущает ли его, что я разговариваю с вороной. Он мне ответил, что он – деловой человек, и ему некогда проводить время на балконе, так что ему совершенно все равно, с кем я там разговариваю.

В течение нескольких лет, как только я приезжала, моя ворона это сразу замечала и появлялась. Не знаю, любила ли она меня, может, относилась с усмешкой, но угощение принимала с удовольствием.

Раз уж зашла речь о забавных историях, связанных с

животными и знаменитыми друзьями Беллы Ахмадулиной, стоит вспомнить и ее рассказ о писателе Андрее Битове в интервью Александру Казакевичу. История была и в самом деле смешная, хоть и очень своеобразная.

Андрей Битов был соседом Ахмадулиной по писательскому дому. Но на самом деле он в своей пятикомнатной квартире и не жил совсем, у него была еще одна около метро «Комсомольская», а эту, в писательском доме, он сдавал. Естественно, не сам, а через помощника. Однажды этот помощник сообщил ему, что жильцы съехали – Битов в то время был не в Москве, да и вообще занят, поэтому не обратил особого внимания на эту информацию, ну мало ли, съехали так съехали. Но, вернувшись, он все же вспомнил, что квартира пустует, и решил посмотреть, в каком она состоянии. А там…

«Когда он приоткрыл дверь в свою квартиру, – со смехом рассказывала Ахмадулина, – то на него зашипел огромный кот, который почему-то находился внутри, а в нос ударил жуткий запах кошачьих испражнений. Весь пол был в этом дерьме, а в ванной обнаружилось ведро кошачьей еды. То есть он не просто пробрался в квартиру нелегально, скажем, через форточку, а к нему кто-то сюда специально приходил, чтобы покормить. Стал распутывать клубок непонятностей. Долго распутывать не пришлось.

Выяснилось, что его помощнику предложили приютить на несколько месяцев кота, пока его хозяева уедут в долгую командировку. За смешные деньги. 50 долларов. Писательскому помощнику деньги показались нормальными, потому что не надо было ни с кем делиться. Недолго думая он выкинул жильцов, которые снимали квартиру у Битова, и сдал пятикомнатную квартиру коту за 50 долларов для себя. Нормально жил кот: центр Москвы, писательский дом, отличные соседи вроде Ахмадулиной и Искандера, раз в неделю приходила женщина с ведром жратвы, а гадить можно было куда заблагорассудится».

Что сказал Битов, и какова была дальнейшая судьба его помощника, Ахмадулина умолчала, но сказала, что квартиру ему пришлось продать, причем дешево, поскольку избавиться от жуткой вони так и не удалось.

Первое впечатление о Белле у меня возникло еще до личного знакомства – по стихам и фотографиям, а потом я увидел ее и в домашней обстановке. Не залюбоваться ею было невозможно. Больше всего Белла меня поразила не как поэтесса, а когда я видел, как она умела дружить. Она никогда и ни к кому не стала предателем, в том числе и ко мне.

Белла всегда была душой компании и украшением. Они с Борей были неразделимой, идеальной парой. Ее все любили и приходили часто, чтобы увидеть именно ее. И, право, я не помню, чтобы туда часто приходили другие поэтессы – если и приходили, то не выдерживали конкуренции с ней. Я вот помню, что очень хозяева в свое время возлюбили Венедикта Ерофеева, и он там спасался при всей своей задиристой строгости, обожал и Беллу, и Борю. Компании в той мастерской бывали очень разные, но там не боялись друг друга, никаких речей и высказываний.

Она умела слушать. И наматывала на ус, если бы он у нее был. Она во время посиделок подавала очень точные, порой острые реплики. А когда ей приходилось что-то сказать, то, как и ее стихи, – была вроде бы сложна, ассоциативна, но приходила к очень точному результату. Она была очень умна.

Я был в нее влюблен! Она пленяла мужчин красотой и умом. Но она стала мне сестрой, у нас сохранялись сестринско-братские отношения до последних дней.

Знаю, что она всегда собирала дочерей вокруг себя и очень трепетно к ним относилась, вникала в их дела, а еще – она никогда не насиловала индивидуальность своих дочерей, не диктовала условий.

Она ничего не коллекционировала, но в доме было много интересных вещей. Я вот помню, у нее был крупный, сталинский почерк и она иногда выписывала автографы для друзей и посвящения, а Борис большими гвоздями прибивал их к потолку мастерской.

Андрей Битов, советский и российский писатель, один из создателей неформального объединения «БаГаЖъ» (Битов, Ахмадулина, Габриадзе, Алешковский, Жванецкий).

И напоследок, прежде чем вернуться к юности Беллы, еще одна история о животных – трогательная и максимально типичная для нее. Дело было в Новосибирске, где проходил ее творческий вечер. Устраивала его Нелли Матханова – писательница, журналистка, драматург и большая поклонница таланта Беллы Ахмадулиной. Поэтому сделано все было по высшему разряду, жила Ахмадулина в номере люкс гостиницы «Сибирь», получить который Нелли удалось только благодаря обширным связям – это же было советское время, и даже простые номера в гостиницах были на вес золота.

А Белла Ахмадулина в этот роскошный номер принесла… щенка. «Всего лишь полчаса назад он сидел на главной улице Иркутска, на улице Ленина, – писала Ольга Кучкина, тоже

писательница и журналистка, широкой публике лучше всего известная как ведущая канала НТВ. – Он был ничей и понимал это. Он был голоден и дрожал от холода и тоски. Он заглядывал в глаза проходивших мимо людей, но в тех глазах угадывалось только то, что у людей тоже было трудное детство. А потом его взяли на руки, чмокнули в нос и засунули под шубку.

Мимо дежурной по этажу Белла шла со щенком в руках, прижатым к груди. У щенка были весёлые глаза, он повизгивал от счастья.

Член КПСС Нелли Афанасьевна Матханова мысленно перекрестилась: боженька, дай, чтобы пронесло…

Дежурная по этажу (по-народному, «этажерка») Инга Павловна сопровождала Беллу взглядом растерянным. На лбу её собрались морщинки. Она впервые не знала, как ей поступить сейчас: по инструкции насчёт животных или по моральному кодексу насчёт людей?..

«Этажерка» устояла.

– Какая она хорошая, – сказала Белла уже в номере. – У неё добрые глаза, и по глазам видно, что у неё было трудное детство…

Рано утром Ингу Павловну побеспокоил телефонный звонок.

– Будьте добренькы, пригласите, пожалуйста, уж будьте любезны, к телефончику Беллу Ахатовну, а то у неё в номере телефончик ни хрена не фурычит…

Постучала Инга Павловна в дверь, вошла, строгая и вежливая, как инструкция. И обмерла на месте…

Собачка жрёт что-то такое по-человечески вкусненькое и запашистое из хрустальной вазы-салатницы, а дама стоит перед ней на коленях и что-то мурлычет нечеловеческое…

Инга Павловна схватилась за сердце. Эта салатница под инвентарным номером! из номерного, тоже пронумерованного, серванта!.. позапозавчера из этой хрустальной посудины черпал ложкой чёрную икру сам товарищ Анциферов из Москвы, а завтра, может быть, будет черпать красную икру другой товарищ…

Инга Павловна падала – и думала в том падении: а что, в самом-то деле? Одни живут как при коммунизме, а у других – не то чтоб икру ложками лопать, а вообще жизнь хуже собачьей…

Но Инга Павловна не упала.

Она выпрямилась и улыбнулась.

Улыбнулась загадочно.

Не Мона Лиза, однако. Но нечто своё, родное, советское и социалистическое было в той улыбке…

Перед отъездом из Иркутска Белла передала щенка Инге

Павловне. Тот не возражал».

Живут на улице Песчаной
два человека дорогих.
Я не о них.
Я о печальной
неведомой собаке их.

Эта японская порода
ей так расставила зрачки,
что даже страшно у порога –
как их раздумья глубоки.

То добрый пес. Но, замирая
и победительно сопя,
надменным взглядом самурая
он сможет защитить себя.

Однажды просто так, без дела
одна пришла я в этот дом,
и на диване я сидела,
и говорила я с трудом.

Уставив глаз свой самоцветный,
всё различавший в тишине,
пёс умудренный семилетний
сидел и думал обо мне.

И голова его мигала.
Он горестный был и седой,
как бы поверженный микадо,
усталый и немолодой.

Зовется Тошкой пёс. Ах, Тошка,
ты понимаешь всё. Ответь,
что так мне совестно и тошно
сидеть и на тебя глядеть?

Всё тонкий нюх твой различает,
угадывает наперёд.
Скажи мне, что нас разлучает
и всё ж расстаться не даёт?

Однако пора возвращаться к юности Беллы Ахмадулиной.

Остались позади и депрессия, и школа, и кружки. Серебряную медаль, как уже говорилось, она не получила, о чем нисколько не жалела. Но родители ее, несомненно, были этим расстроены. Чтобы не усугублять конфликт, Белла согласилась поступать на тот факультет, который они для нее выбрали. Это был факультет журналистики МГУ. Но как всегда, когда ей приходилось делать то, что она сама считала ей «полностью противопоказанным», попытка обернулась неудачей. На первом же собеседовании ее спросили, кто главный редактор газеты «Правда» – главного официального рупора власти. Ахмадулина честно ответила, что никогда не читала «Правду», и с чистой совестью отправилась домой – ее выгнали с собеседования, и про поступление на журфак можно было забыть.

И все же ей довелось побыть журналисткой. Несмотря на провал в МГУ, родители все же отправили ее работать в газету «Метростроевец». «Странно, что иногда такое малое и почти трогательное заведение может что-то дать человеку, – говорила Ахмадулина. – Это на улице где-то возле ГУМа… Когда я там появилась после школы, мне было семнадцать лет. Маленьким литературным отделом ведала маленькая женщина Маргарита Петровна Неволина. Она сидела на подшивке этого изданьица, подшивка увеличивалась, она сидела все выше-выше».

Маргарита Петровна сразу прониклась к Белле теплыми чувствами, дала ей прозвище Белочка и взяла ее на работу, хотя новые сотрудники им были в принципе не нужны: газета была совсем маленькой, узкоспециализированной, и семнадцатилетней девочке, не имеющей никакого отношения к Метрострою, делать там было особо нечего. Но, как поясняла сама Ахмадулина, «они были добрые люди и увидели, что сотрудник явно безобидный и, наверное, бесполезный, но все-таки – вот он. Ну, сказали, хорошо».

Ее взяли внештатным корреспондентом и поручили ей простое задание, с которым мог справиться человек, не имеющий технического образования и ничего не смыслящий ни в строительстве, ни в метро, – написать статью о теплице на станции Лось, где выращивались овощи для работников Метростроя.

Белла прониклась этим заданием со всем пылом юности, к тому же, несмотря на то что она совсем не рвалась в журналистику, ее не могло не порадовать ощущение взрослости, которое она испытала, получив свой первый в жизни документ о работе, подтверждающий, что она сотрудница газеты «Метростроевец». И статью она написала с размахом – такую огромную, что в этой маленькой газете ее и разместить было бы

негде, а главное, такую пафосную, словно это была не теплица с овощами, а роскошная оранжерея, где выращивались какие-то экзотические фрукты.

«Они очень, очень, очень смеялись, – вспоминала Ахмадулина, – но сказали, что все равно написано очень хорошо, и хорошо, что ты так чувствуешь, вот и правильно. В общем, они меня похвалили. И тогда я к ним привязалась. Я стала каждый день к ним приходить, как на работу, мне это внушало большое какое-то ощущение строгой серьезности. Они меня ласкали и давали такие несложные задания».

Следующим заданием стало пойти в ресторан «Прага», который ремонтировала метростроевская молодежь, и написать об их работе. С виду действительно просто, но не на практике – Белла же ничего не понимала в технических вопросах, поэтому молодые работники Метростроя только смеялись в ответ на ее расспросы «про электричество, как они проводят электричество и как связано электричество и метро». Естественно, ее никто не принимал всерьез – сказались и обычное презрение «технарей» к «гуманитариям», и то, что она девушка, и ее крайняя молодость. На ее вопросы не отвечали, а если и отвечали, то несли какую-то чушь, которую она тоже не понимала и только внутренним чутьем угадывала, что ее дурачат. Но Белла была упрямой и настырной, она продолжала спрашивать, во все совала нос, и в конце концов поплатилась за свою настойчивость – она обо что-то ударилась, да так сильно, что рассекла лоб над бровью, и все лицо оказалось залито кровью. «Тогда все эти вот злоязычные, или остроязычные, мальчишки пришли в ужас… – рассказывала она. – Они страшно испугались, никто не знал, что делать, но там нашли какую-то медицину, и мне голову мгновенно забинтовали и отправили на метро же как метростроевца в поликлинику Метростроя. Но когда я ехала в метро, а мне уже к тому времени выдали какой-то комбинезон, какую-то каску, и когда я ехала в метро, я, во-первых, страшно гордилась, что я метростроевский такой человек, и все вот едут просто на метро, по эскалатору, просто так едут, а я еду с производственной травмой, на которую все эскалаторы немедленно обратили внимание, потому что голова вся забинтована, с направлением в поликлинику Метростроя. И вот я еду, и все меня жалеют. И я страшно горжусь, действительно, они просто катаются, а я еду с раной, сквозь бинт проступает кровь».

Статью она, конечно, написала, и хотя над ее рассказом о том, как «молодые работники Метростроя провели сколько-то километров электричества» все опять посмеивались, уважение и сотрудников газеты, и молодых метростроевцев она все же

заслужила. Да и сама она гордилась своей производственной травмой, чувствовала себя ужасно взрослой и опытной и горела желанием продолжать работу, несмотря на перебинтованную голову.

Энтузиазм травмированной сотрудницы метростроевцев изрядно беспокоил, поэтому, когда стало ясно, что от нее так просто не избавиться и на больничном она сидеть не будет, в газете сдались и повели показывать ей тоннели метро, объяснять, что и как работает, как подводится электричество и так далее, в общем, начали серьезно вводить ее в курс дела, чтобы она хотя бы понимала, о чем пишет. И надо сказать, об этом времени Ахмадулина никогда не жалела и вспоминала его с удовольствием. «Я помню такой добрый смех, не обидный, веселый, – говорила она. – Я считала, что такой опыт был мне очень полезен».

Стихи она, разумеется, не забросила – с тех пор, как она начала их писать, это стало естественной частью ее жизни. В кружке ли или одной, с возможностью их кому-то читать или без, она все время писала. Но она никогда не чувствовала себя каким-то исключением, кем-то особенным и важным, наоборот, очень интересовалась любыми возможными единомышленниками. Как-то раз, еще в то время, когда она работала в «Метростроевце», она прочитала в газете про рабочего автобусного цеха, который занимается в литературном кружке завода Лихачева и пишет стихи. Это вызвало у нее искреннее восхищение – ну надо же, рабочий, а тоже поэт – и желание познакомиться с ним и с другими людьми, занимающимися в этом кружке. Причем это желание она тут же и осуществила – поехала на завод и познакомилась с Евгением Михайловичем Винокуровым, в то время бывшим руководителем заводского литературного кружка.

«Евгений Михайлович Винокуров был тогда довольно молод, просто таким образом приходилось подрабатывать, – вспоминала Ахмадулина, поясняя, каким образом будущий лауреат Государственной премии СССР оказался на такой незаметной и не соответствующей его таланту работе. – И очень толково, очень остроумно, хоть в тягость, может, ему это было, но… Винокуров потом всегда и говорил, что я его ученица, в каком-то смысле это точно так и было, потому что я приходила, ездила в этот кружок.

Там были очень одаренные люди, и я их заметила. Меня там все хвалили за «Горе от ума», а я заметила очень одаренных людей – Наталью Астафьеву, замечательную такую. Рабочий автобусного цеха Колотиевский писал стихи. Из него я ничего не помню, только «На руках лежат веснушки, словно крошки табака».

Белла принесла на суд Винокурова стихотворение «Черный ручей», написанное летом в деревне, в маленьком домике на берегу Оки, который она называла избушкой. Родители по ее просьбе сняли для нее этот домик в какой-то страшной глуши, где почти не было людей, зато была природа, тишина, и где можно было отдохнуть от городской суеты. «Там я очень наслаждалась, – с нежностью вспоминала Ахмадулина это лето. – Маленькая, крошечная избушка с какой-то печкой, которую я не умела топить, и совершенно разрушенная, и полное отсутствие кого бы то ни было. Никого не было, ни одного человека, но я любила это. Я видела вот эти деревья, и там змейки такие еще ползали, но неопасные. И особенно кузница трогала меня, потому что я понимала, что она старинная, древняя. И в избушке в этой я поживала и очень заглядывалась на эту кузницу, то есть на древнее время, на старое».

Винокурову, а потом и Степану Петровичу Щипачеву, с которым они вместе руководили поэтическим отделом журнала «Октябрь», очень понравился «Черный ручей». Щипачев даже звонил Белле домой, чтобы лично выразить восхищение ее стихами. Это стало очень важным событием – ведь в семье к ее увлечению поэзией относились как к чему-то несерьезному, побалуется девочка и займется чем-нибудь нормальным. А тут вдруг позвонил известный уже поэт, имя которого Надежде Макаровне было хорошо знакомо – кто же не знал автора «Пионерского галстука», – и сказал, что у девушки настоящий талант и что ей надо обязательно поступать в Литературный институт.

Я познакомилась с Ахмадулиной раньше других – ко мне пришел поэт Евгений Винокуров со словами: «Вот, почитайте стихи ученицы моего семинара». Он мне вручил тетрадку, исписанную детским почерком. Такой почерк у Беллы и остался. Для меня ее произведения стразу произвели большое впечатление. Потом у нас с ней было очень много пересечений – я ходила почти на все ее выступления, затем наши совместные встречи соединились с Андреем Вознесенским. И вот однажды на Пахре Белла, которая в то время была женой Юрия Нагибина, примчалась в Дом творчества, где я что-то сочиняла, и, почти встав на колено, повесила мне на шею аквамариновый крестик: «Он выбрал тебя».

В ту пору, когда я с ней познакомилась, Белла слыла хулиганкой, беспрерывно попадавшей с друзьями-поэтами в какие-то передряги. К примеру, она могла не подать руки, не поднять голову, не поздороваться с человеком, который ей

несимпатичен. Она одновременно была и беззащитной, и непреклонной в своих действиях.

Зоя Богуславская, писательница, прозаик, эссеист, драматург, вдова поэта Андрея Вознесенского.

Сама Ахмадулина всю жизнь считала, что Винокуров и Щипачев тогда очень преувеличивали достоинства ее стихов, по ее мнению, почти все они были незрелыми и вообще кошмарными. И вообще она списывала свой быстрый успех на время, которое тогда наступило – когда после смерти Сталина начался откат от пафоса, и потребовались более камерные, душевные стихи, не выражающие какую-то гражданскую позицию, а просто говорящие о жизни, может быть наивно, но зато по-доброму и честно. «Я думаю, что, кроме доброты Степана Петровича Щипачева, еще почему такая вдруг какая-то ласка меня окружала. Все-таки среди этого времени, не успевшего очнуться от полного мрака, от страха, от множества каких-то человеческих горестей, обид, вот существо неопределенного звания, неопределенных занятий еще какие-то стишки пишет. И стишки, я знаю, что они были ужасные, то есть очень ничтожные, но, тем не менее, вот Щипачев выбрал какие-то стихи, которые, я не знаю, только разве что его добродушию могли понравиться, но он их как-то восхвалил. Он и, по-моему, их общие усилия, его и Винокурова. Вот они и показали эти стихи Сельвинскому… И много лет пройдет, чтобы мне понять, что я пишу очень плохо. Но Степана Петровича я всегда вспоминаю с любовью и его милейшую, прекрасную жену».

Стихи напечатали в журнале «Октябрь», и как бы легко Ахмадулина ни относилась к этому событию (а она о нем вспоминал в основном потому, что на полученный гонорар купила себе собаку), это стало знаковым, переломным моментом в ее жизни. Потому что в «Октябре» эти стихи увидели два человека, определивших ее судьбу на ближайшие годы, – известный советский драматург и поэт Илья Львович Сельвинский и молодой начинающий поэт Евгений Евтушенко.

Черный ручей

В деревне его называют Черным,
Я не знаю, по выдумке чьей.
Он, как все ручейки, озорной и проворный,
Чистый, прозрачный ручей.

В нем ходят, кряхтя, косолапые утки,
Перышки в воду роняя свои.
Он льется, вокруг расплескав незабудки,
Как синие капли своей струи.

Может, он потому мне до боли дорог,
Что в нем отразился лопух в пыли,
Прямая береза, желтый пригорок –
Родные приметы моей земли.

Яркие камешки весело моя,
Он деловито бежит в Оку.
А я бы скучала у Черного моря
По этому Черному ручейку.

Испытание на прочность

Если меня чему-то научил Литературный институт, так это тому, как не надо писать и как не надо жить. Моя юность как раз пришла на то время, когда травле подвергался Пастернак, и я видела, что потом происходило в душах тех людей, которые приняли в ней участие. Они медленно изнутри самоуничтожались. Я поняла, что жизнь – это отчасти попытка отстоять суверенность души: не поддаться ни соблазнам, ни угрозам.

Жизнь Беллы Ахмадулиной сделала новый поворот, когда в один прекрасный мартовский день 1955 года ей пришло письмо от Ильи Львовича Сельвинского, где он очень хвалил ее стихи, напечатанные в журнале «Октябрь»:

«Милая Изабелла Ахмадулина!

Пишу Вам под впечатлением Ваших стихов, присланных мне на отзыв Лит. институтом. Я совершенно потрясен огромной чистотой Вашей души, которая объясняется не только Вашей юностью, но и могучим, совершенно мужским дарованием, пронизанным женственностью и даже детскостью, остротой ума и яркостью поэтического, да и просто человеческого чувства!

Как это Вам сохранить на будущее? Хватит ли у Вас воли не споткнуться о быт? Женщине-поэту сложнее, чем поэту-мужчине… Как бы там ни было, что бы в Вашей жизни ни произошло, помните, что у вас дарование с чертами гениальности, и не жертвуйте им никому и ничему!

До свидания, чудесное Вы существо, будьте радостны и счастливы, а если и случится какая беда – поэт от этого становится только чище и выше.

Илья Сельвинский

23.03.55»

«Это очень трогательное письмо, – вспоминала Ахмадулина. – Надо сказать, что во мне были какие-то слабые, нежные, стрекозиные защитные формы. Не то что на меня это все подействовало, но он очень преувеличил мои способности».

Вероятно, именно после этого письма будущее Беллы определилось окончательно. То есть, конечно, для нее самой оно и так было уже определено, она была поэтом и осталась бы им, даже если бы как некоторые другие советские поэты (из тех, что не были обласканы властью) и работала бы на какой-нибудь обычной скучной работе. Но она была еще очень юна, поэтому

зависела от семьи, где на ее литературные увлечения по-прежнему смотрели косо.

Она слишком редко и уклончиво говорила о своих отношениях с матерью, поэтому можно только догадываться, какие разговоры об ее будущем велись в их доме. Но скорее всего было примерно то же, что у другого большого поэта и ее будущего мужа, Евгения Евтушенко: «Мама не хотела, чтобы я стал поэтом, – писал он в своих воспоминаниях. – Не потому, что она не разбиралась в поэзии, а потому, что твердо знала одно: поэт – это что-то неустроенное, неблагополучное, мятущееся, страдающее. Трагическими были судьбы почти всех русских поэтов: Пушкин и Лермонтов были убиты на дуэли, жизнь Блока, сжигавшего себя в угарных ночах, в сущности, была самоубийством, повесился Есенин, застрелился Маяковский. Мама не говорила мне, но, конечно, знала и о гибели многих поэтов в сталинских лагерях. Все это заставляло ее бояться моего будущего поэтического пути, заставляло рвать мои тетради со стихами и уговаривать меня заняться чем-нибудь, по ее выражению, более серьезным».

Именно поэтому так важна была поддержка со стороны, тем более что Ахмадулина по характеру очень отличалась от Евтушенко – он, еще будучи школьником, рассылал свои стихи по газетам, ходил в редакции, пробивался, рвался к признанию, тогда как она плыла по течению, ожидая, что все само сделается как надо, когда придет время. И ведь делалось!

Илья Сельвинский был еще известнее Щипачева, мать Беллы, Надежда Макаровна, не просто знала это имя, она читала его произведения, а возможно, и видела в театре спектакли по его пьесам. Например, пьеса «Умка – белый медведь» ставилась неоднократно в разных городах Советского Союза. И столь высокая похвала такого известного, уважаемого человека, профессионала в своем деле, стала весомым аргументом для того, чтобы не мешать дочери заниматься таким ненадежным и малопонятным большинству людей делом, как поэзия.

Когда в 1955 году первые стихи Ахмадулиной появились в журнале «Октябрь», сразу стало понятно, что пришел настоящий поэт. Поступив в этом же году в Литинститут, она была там королевой, и в нее были влюблены все молодые поэты…

Евгений Евтушенко, поэт, первый муж Беллы Ахмадулиной.

Но еще важнее было то, что Сельвинский не просто похвалил Беллу, а еще и рекомендовал ее для поступления в Литературный институт им. А. М. Горького. «Ну, и осенью следующего года, – рассказывала она, – молодая, уже знающая, что такое

Метрострой, я двигаюсь к Литературному институту вдоль Ильинского сквера, а потом уже к Тверскому бульвару. Меня принарядили немного. Цветущее создание. Ну, я явилась. Там уже были какие-то другие студенты, то есть и старшие, у всех я вызвала любопытство. Но вот ласково так меня все встретили, очень приветливо, поскольку он [Сельвинский] сказал, что «у вас дарование на грани гениальности» и что, «как вам будет трудно, потому что женщине особенно…». Ну и так далее».

Литературный институт Ахмадулину удивил тем, что там училось не так уж много по-настоящему талантливых людей, ну или хотя бы тех, кто много лет занимался поэзией. Сама-то она мало того что была одарена от природы, но еще и ходила то в один литературный кружок, то в другой, постоянно училась, совершенствовалась, вечно была недовольна тем, что писала раньше. И Литературный институт представлялся ей таким местом, где должны учиться только такие же, как она, люди, живущие поэзией. Но оказалось, что там как везде – есть несколько одаренных, а остальные попали в этот институт по каким-то другим причинам, к поэзии отношения не имеющим. В том числе и классовым – советскую интеллигенцию упорно старались пополнять выходцами из пролетариата, поэтому среди сокурсников Ахмадулиной оказались бывшие рабочие, солдаты, моряки…

Впрочем, она снобом не была и, поудивлявшись, стала относиться к этому просто как к данности. Тем более что и среди классово правильных студентов тоже были талантливые, например, бывший шахтер Николай Анциферов, ставший известным поэтом. Он писал о том, что знал лучше всего, – о шахтерах, но, надо сказать, несмотря на такую тему, далеко не все его стихи проходили цензуру, уж слишком много в них было правды, о которой власти предпочитали молчать. Кстати, стихи Анциферова высоко оценил Жан-Поль Сартр. С Николаем Анциферовым Ахмадулина очень подружилась. К сожалению, он прожил недолго, умер в возрасте тридцати четырех лет.

Ну а из тех, кто изначально был среди самых интеллигентных, талантливых и притягивающих внимание, нельзя не вспомнить самую знаменитую сокурсницу Ахмадулиной, ее главную соперницу в поэзии – Юнну Мориц. Для своего времени они были почти как Ахматова и Цветаева – женщины одной эпохи, одного круга и даже во многом одних взглядов, очень талантливые, с в чем-то похожими судьбами (например, обеих исключили из Литературного института), но при этом абсолютно разные, настолько, насколько вообще можно быть разными. Юнна – сдержанная, суровая, всегда готовая

выступить на защиту того, что считает справедливым, бросить правду в лицо хоть всему миру – поэт и гражданин. Белла – эмоциональная, теплая, максимально отстраненная от политики, все оценивающая в первую очередь с точки зрения внутренней человеческой справедливости – поэт и прежде всего поэт. Они не дружили, но для многих их современников были друг от друга неотделимы. Их однокурсник, известный поэт Иосиф Курлат говорил: «Если бы я был Шведской Академией, нарушив правила, однажды присудил бы сразу две Нобелевских премии, и обе женщинам: Белле Ахмадулиной и Юнне Мориц».

Евгений Евтушенко вспоминал: «Я был в одном московском доме, среди студенческой компании. За бутылками сидра и кабачковой икрой мы читали свои стихи и спорили. И вдруг одна восемнадцатилетняя студентка голосом шестидесятилетней чревовещательницы сказала:

– Революция сдохла, и труп ее смердит.

(Это была Юнна Мориц… – *Е. Е.*, 1998.)

И тогда поднялась другая восемнадцатилетняя девушка с круглым детским лицом, толстой рыжей косой и, сверкая раскосыми татарскими глазами, крикнула:

– Как тебе не стыдно! Революция не умерла. Революция больна. Революции надо помочь.

Эту девушку звали Белла Ахмадулина. Она вскоре стала моей женой».

Нет, такие женщины подругами быть не могли, они могли только уважать друг друга, не сближаясь больше необходимого.

Я вообще никогда не думала о том, прочтут ли мои сочинения, напечатают ли. Я писала, потому что по-другому не могла. Это как дышать, чувствовать, любить. Человек, который думает о том, чтобы его обязательно прочитали, не совсем творец, не слишком поэт. Хотя, конечно, для писателей это все-таки очень важно – чтобы их публиковали, читали, знали. Андрей Платонов – разве он не хотел, чтобы его произведения были напечатаны? Но мог ли он предположить, что за это печатание жизнью надо заплатить? Так и с Булгаковым. Но… дело не в печатании, а в художественном совершенстве. Да, часто приходится платить жизнью. Вспомните судьбы Гумилева, Мандельштама, Цветаевой…

Зато Белла подружилась с Галиной Арбузовой, падчерицей Паустовского, ставшей впоследствии известным кинодраматургом. «Она замечательная была и по уму, и по доброте, чудесный человек, такая она и теперь есть, – говорила

Ахмадулина. – Хоть много лет прошло, но ее я всегда вспоминаю с любовью. Ну, и, конечно, какое-то влияние Паустовского через нее проходило, и влияние, и поддержка».

За Галиной Арбузовой в то время ухаживал уже упомянутый Иосиф Курлат. В одном из интервью Ахмадулина сказала о своих друзьях-шестидесятниках времен Литературного института: «Иногда мне кажется таким скучным этот список имен, ведь все его знают. Но в него никто не привносит имя Иосифа Курлата. А я, если уж перечислять тех, кто много значил для меня в то время, кто был чист душою, привношу непременно и его». С Курлатом у них действительно сложилась очень нежная дружба, настолько близкая, что когда у Ахмадулиной начался роман с Евгением Евтушенко, он временами выступал посредником между ссорившимися влюбленными. Она вспоминала, что ее привлекало в нем то, что Курлат был старше большинства однокурсников и очень мягко и снисходительно относился к ним, восемнадцатилетним. Он уже имел высшее образование, успел повоевать, его стихи уже несколько лет печатали в газетах, он был знаком с Пастернаком, Чуковским и другими маститыми поэтами, к которым юная Белла не решилась бы даже подойти. Кстати, начинал он как детский писатель, и повесть «Бульбуль и его друзья» возникла из его переписки с Ахмадулиной на скучных лекциях.

«Однажды я была вместе с ним на даче у Ахмадулиной, – рассказывала жена Иосифа Курлата Татьяна Литвинова. – И воочию видела, как она нежно к нему относится. Столько теплоты было во взгляде, в жестах… В тот вечер у нее в гостях было много известных людей, но Курлата она не выпускала из виду. Белла Ахатовна говорила, что у ее мужа, Бориса Мессерера, осталось о нем впечатление как об очень светлом человеке. Эту светлую ноту, наверное, Ахмадулина и любила в нем». А о самой Ахмадулиной говорила: «Мне кажется, что взаимоотношение с миром у нее основано на любви, восторженности и каком-то вдохновенном начале. Когда я познакомилась с ней, Белле было сорок пять лет. Она была столь же обворожительна, как и в молодые годы».

При этом в отличие от большинства сокурсников Иосиф Курлат не был в нее влюблен. Они даже шутили на эту тему. Ахмадулина, почувствовав в институте свою женскую силу и неотразимость, кокетливо спрашивала: «Курлатик, почему в меня все влюблены, а ты – нет?» А он отвечал: «Я тоже тебя люблю, но не так, как все. Иначе».

Ветер тронул слегка

Белокурый березовый клавиш,
И листва задрожала,
Запела в тиши…
Ты живешь и, наверное,
Даже не знаешь,
Как глаза у тебя, как стихи
У тебя хороши…

Иосиф Курлат о Белле Ахмадулиной.

И это «все влюблены» не было таким уж преувеличением. Белла Ахмадулина действительно, едва войдя в пору юности и став по-женски привлекательной, обнаружила настоящий дар влюблять в себя всех вокруг. «Это было ошеломление, часто переходившее во влюбленность даже у тех людей, которых представить влюбленными было невозможно, – вспоминал Евгений Евтушенко. – При этом она была остра на язычок, а в стихах еще и высокопарно язвительна и обдавала убийственной брезгливостью, а не придирчивой мелочностью».

И это состояние влюбленности в Беллу Ахмадулину вспоминают практически все, кто видел и слышал ее, причем не только в юные годы, но и позже, а самое главное – не только мужчины, но и женщины. Она очаровывала всех. «Белла была звездой среди всех, – вспоминала журналистка Алла Гербер, – она была звездой. Она была необыкновенно красива. Я помню мое первое ощущение, у меня, девушки тогда, какая красавица, боже. Я очень хорошо помню это чувство, просто какое-то преклонение перед ее красотой. Она вообще была необыкновенная. Она ходила необыкновенно, она говорила необыкновенно. Я помню, у нас был юбилей «Юности», и она танцевала, очень весело гуляли, мы вообще веселились. Я хорошо помню, как она танцевала, как она двигалась. Вот она двигалась, танцевала, шутила, молчала точно как ее стихи. Как будто вся пластика в ее улыбке, в ее потрясающих глазах, во всем, это была пластика ее стихов, это был взгляд ее стихов, это была тональность ее стихов. Я сказала и не боюсь повториться, ее тон действительно делал ее музыку. То, как она говорила, как она писала – это было одно музыкальное произведение с такой богатейшей палитрой. Это часто было и ноктюрн, и маленькое поэтическое эссе музыкальное. Но это бывала и симфония, концерт для фортепиано с оркестром. Потому что в ее стихах всегда была музыка, мощнейшая музыка, в ней было много замечательного смысла, философского постижения, постижение смысла вообще и собственной жизни, и постижение любви и не любви – это все было в ее музыке, в

музыке ее стиха».

В 60-е годы я ходил на поэтические концерты Ахмадулиной, как в сказку. Как русский сказочный герой, нырял из одного котла в другой – ее поэзия производила на меня очистительное действие. А лично мы пересеклись в 1978 году, когда мы все работали над альманахом «Метрополь», и она меня, конечно, полностью очаровала. Вообще, все наше поколение было в нее влюблено. Она сочетала в себе божество и принцессу. С одной стороны, ее поэзия была очищена от всякого советизма, а с другой – это была молодая женщина, ужасно привлекательная, острая, своенравная, высокомерная, в общем, все там переплеталось. Образ, конечно, был величавый.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, радио– и телеведущий.

Красоту Беллы Ахмадулиной отмечают все, кто ее вспоминает, не важно, когда они ее видели – юной или уже зрелой женщиной. Она была хороша всегда, просто очень по-разному. Какой она была тогда, в 1955 году? Тех, кто смотрел сериал «Таинственная страсть», где Неллу, прототипом которой была Ахмадулина, играет Чулпан Хаматова, ждет разочарование. В то время Белла не была такой тонкой и звонкой, как натянутая струна, как эфемерное неземное создание, наоборот, она была совершенно земной, пухленькой, округлой и очень сексапильной девушкой. А тот ее облик, который всем известен и которого придерживались в сериале, появился уже позже – после первой любви и первой большой личной трагедии.

Подробнее всего юную Беллу описал Евгений Евтушенко: «Белла тогда была чуть полненькая, но непередаваемо грациозная, не ходившая, а буквально летавшая, едва касаясь земли, с дивно просвечивающими сквозь атласную кожу пульсирующими жилочками, где скакала смешанная кровь татаро-монгольских кочевников и итальянских революционеров из рода Стопани, в чью честь был назван московский переулок. Хотя ее пухленькое личико было кругленьким, как сибирская шанежка, она не была похожа ни на одно земное существо. Ее раскосые не то что азиатские, а некие инопланетные глаза глядели как будто не на самих людей, а сквозь них на нечто никому не видимое. Голос волшебно переливался и околдовывал не только при чтении стихов, но и в простеньком бытовом разговоре, придавая кружевную высокопарность даже прозаическим пустякам. Белла поражала, как случайно залетевшая к нам райская птица, хотя носила дешевенький

бежевый костюмчик с фабрики «Большевичка», комсомольский значок на груди, обыкновенные босоножки и венком уложенную деревенскую косу, про которую уязвленные соперницы говорили, что она приплетная. На самом деле равных соперниц, во всяком случае – молодых, у нее не было ни в поэзии, ни в красоте. В ее ощущении собственной необыкновенности не таилось ничего пренебрежительного к другим, она была добра и предупредительна, но за это ее простить было еще труднее. Она завораживала. В ее поведении даже искусственность становилась естественной. Она была воплощением артистизма в каждом жесте и движении – так выглядел лишь Борис Пастернак. Только он гудел, а Белла звенела. Пластика голоса и словесная витиеватость были у них природными, а не отрепетированными…»

У нее была необыкновенная осанка, необычный голос. Все это завораживало многочисленных поклонников ее таланта и красоты. И я был среди них. В 1956 году, будучи плотником на стройке, я специально приходил в Литинститут, чтобы послушать и посмотреть на Ахмадулину.

Владимир Войнович, писатель, поэт и драматург.

Хотя сама Ахмадулина, кстати, наверняка была бы рада, что ее на экране воплотила именно Чулпан Хаматова. Очень часто, когда в различных интервью заходила речь о талантливых людях, о ее собственном восприятии чужого таланта, она приводила в пример двух Актрис – Марину Неелову и Чулпан Хаматову, которыми она искренне восхищалась: «Я за собой внимательно слежу и замечаю, что сразу чувствую талант другого человека. Поэта, артиста… Словно яркая вспышка в глазах, в разуме происходит. И я люблю этот чужой талант. Воспринимаю его как собственную удачу, собственный приз. Он на меня действует как собственное возвышение. Вот в последнее время меня пленяет Чулпан Хаматова. Прошу Квашу: «Сделай мне билет. Проведи к ней». Или – поскольку мы говорим об артистах – безмерно восхищаюсь Мариной Нееловой. Она уезжала, я ей в дорогу подарила своё кольцо. Мне кажется, любовь к таланту другого человека – обязательный признак собственных способностей. И если ты любуешься талантом другого, тебе надо рукой благославляюще махнуть. Это пушкинская черта. Сам состоящий из одной гениальности, как он чувствовал, как любил, как понимал всякий чужой дар!»

Белла была очень красивой женщиной, а красивые люди во мне вызывают какой-то восторг. Мне просто приятно смотреть:

проходит красивая женщина, красивые глаза, красивая улыбка, красивая прическа, красивая походка. Это приятно, потому что все красивое, когда-то Горький сказал: красота – это тоже талант. Конечно, талант. И вот этот талант у Беллы был. Она никогда ни подо что, ни под кого не подделывалась, она жила так, как она жила, она хотела жить так, как ей хочется, независимо, что происходило вокруг, потому что она была верна себе. Вы знаете, было очень сложно в то время оставаться верной самой себе, она оставалась верной самой себе.

Андрей Дементьев, поэт.

К своей популярности у мужчин Ахмадулина относилась двойственно. С одной стороны, она была истинная женщина, любила восхищение, любила быть в центре внимания, видеть влюбленные взгляды. А с другой – у нее всегда хватало чувства юмора не относиться к этому чересчур уж серьезно. Она не была вертихвосткой, не была светской львицей, и все эти влюбленности не были для нее необходимостью. Потому что ее самооценка не зависела от мнения окружающих. Это трудно представить в наше время погони за популярностью, когда ради нескольких лайков в соцсетях люди готовы рисковать жизнью и даже убивать. Ахмадулина бы их не поняла – она никогда не была «дутой» знаменитостью, жила как хотела, делала то, что считала правильным, за популярностью не гонялась, слава приходила к ней сама. «Известность вовсе не обязательный спутник таланта, – говорила она. – Очень часто известность – это результат дурного читательского вкуса и рыночных устремлений издателей. Бывает, что таланту сопутствует слава, а может быть, он умирает в безвестности. Ширпотреб всегда более выгоден издателю, чем сложные вещи. Что касается меня, то мои стихи долго находились под запретом. Я никогда ничего не делала, чтобы печататься и тем более чтобы снискать славу, так все как-то само всегда складывалось».

В тот месяц май, в тот месяц мой
во мне была такая лёгкость
и, расстилаясь над землей,
влекла меня погоды лётность.

Я так щедра была, щедра
в счастливом предвкушенье пенья,
и с легкомыслием щегла
я окунала в воздух перья.

Но, слава Богу, стал мой взор
и проницательней, и строже,
и каждый вздох и каждый взлет
обходится мне всё дороже.

И я причастна к тайнам дня.
Открыты мне его явленья.
Вокруг оглядываюсь я
с усмешкой старого еврея.

Я вижу, как грачи галдят,
над черным снегом нависая,
как скушно женщины глядят,
склонившиеся над вязаньем.

И где-то, в дудочку дудя,
не соблюдая клумб и грядок,
чужое бегает дитя
и нарушает их порядок.

Ну а что касается ее первых успехов у противоположного пола, то о них мы знаем в основном от тех, кто был в нее влюблен, их жен, их общих друзей и т. д. Сама Ахмадулина ни о чьих чувствах предпочитала не говорить, а уж если рассказывала о своих «любовных победах», предпочитала юмористические истории. Так, например, она вспоминала, что в нее был влюблен их институтский руководитель семинара Александр Александрович Коваленков, «двусмысленный господин», как она его называла. Это был известный поэт-песенник, которого посадили в ночь после смерти Сталина, но к тому времени, естественно, уже выпустили. «Он с большим пристрастием ко мне относился, был влюблен в меня молоденькую, – рассказывала она, – а я такие дерзости говорила страшные, какие-то пререкания с моей стороны, грубости или опасные шутки».

Их флирт был буквально на грани фола, например, он мог сказать ей прямо на семинаре, в присутствии толпы студентов: «Скажите, прекрасная Белла Ахатовна, а вы какие панталоны носите, с кружевами или без?» А она в свою очередь ответить самым невинным тоном: «А вы не делайте вид, что вы этого не знаете».

Ничего серьезного между ними, конечно, не было, Белла была влюблена в другого, а Коваленков и вовсе был женат. Но эти их препирательства и двусмысленные шутки остались для нее очень

приятным воспоминанием, она с удовольствием рассказывала о них и спустя много лет.

Вспоминала она и совсем анекдотическую историю о том, как ездила в совхоз имени Ленина в компании какого-то секретаря райкома, как потом выяснилось – большого охотника до женского пола. Ехали они вдвоем, на грузовике, и вдруг этот секретарь райкома остановил машину около озера и предложил искупаться. Белла удивилась, тем более что озеро было соленое, и отказалась. Тот настаивал, потом рассердился и сказал, что она как хочет, а он искупается. Разделся, оставил одежду в грузовике и полез в озеро.

«Но он не знал, с кем имеет дело, – весело вспоминала Ахмадулина. – От этого озера до дороги километров пять, а сама дорога – я не знаю, сколько километров – от станции Шира до поселка Тергеш. Я осталась в кабине, он бросил одежду и отправился в озеро и стал что-то делать там в соленой воде. Ну, я подумала-подумала, развернулась и поехала в сторону дороги. Представляю, что он испытал, голый, посредине степи. Не голый, а в этих черных трусах. Я доехала до дороги, постояла там и вернулась. Какое-то благородство превысило». Машину водить она, кстати, умела, права у нее были, и даже на вождение грузовика в том числе – в то время сдавали сразу на право вождение и легковых, и грузовых машин.

Разъяренный райкомовец, который, наверное, уже представил, как будет добираться до ближайшего жилья много километров пешком по степи, да еще и почти голышом, не нашел ничего умнее, чем сказать ей: «Да ты там, тьфу, ты думаешь, мне нужна вообще?! У меня просто жена в Сочи уехала».

Когда они вернулись (с приключениями – грузовик то глох, то застревал по пути), секретарь райкома попрощался с Беллой словами: «Наконец-то я от тебя избавился, будь ты неладна». На что она ему ответила: «Вы привет жене своей передайте, когда она из Сочи вернется». И ушла, чрезвычайно довольная собой, записав эту историю в список очень забавных приключений.

Чувство юмора у нее было прекрасное, но когда она приходила ко мне на концерты, я просил ее сесть подальше, потому что не мог вынести это мрачное лицо. Я ей говорил: «Не могу, Белла», она говорила: «Да поверь, Миш, я смеюсь, мне смешно», но я ее просил сесть куда-нибудь вглубь. И она мне говорила: «Я потрачу жизнь, но докажу тебе, что у меня есть чувство юмора». Да я знал, что оно у нее было – прекрасное! Она мне рассказывала, как на гастролях на ее афише написали: «ПоЕт Белла Ахмадулина», вместо «поэт», и ей из зала кто-то даже

крикнул: «Ну, Беллочка, спойте уж нам что-нибудь». Мы так смеялись.

Михаил Жванецкий, писатель-сатирик.

Впрочем, история про секретаря райкома – это уже не институтские годы, а несколько позже. Хотя и студенткой Ахмадулина на целине тоже успела побывать. Было это во время Московского фестиваля молодежи и студентов, когда, по ее ехидному замечанию, «хорошие комсомольцы остались в Москве, а плохих на время молодежного фестиваля старались куда-то выслать». Она, естественно, была в числе плохих, поэтому ее отправили на целину.

Если таким образом ее кто-то рассчитывал наказать или хотя бы вразумить, то это было совершенно бесполезно. Кого-то другого это, возможно, и вразумило, но счастливой стороной склонности Ахмадулиной плыть по течению было то, что она все события в своей жизни воспринимала с интересом и воодушевлением. Провалила собеседование и пошла работать в маленькую газету – отличный опыт, поступила в Литературный институт – замечательно, выгнали из Литературного института – отлично, все равно там ничему толковому не учили.

Так было и с целиной – отправили, вот и прекрасно, это же такая романтика, там так интересно, особенно для городской девушки. Она и в пожилом возрасте с удовольствием вспоминала, как ездила в какую-то глушь, какой там был огромный котел, в котором надо было готовить еду на всю студенческую бригаду, а она и готовить-то не умела, и как она запрягала лошадь, чтобы поехать на ней за продуктами.

Но, естественно, жизнь Ахмадулиной в то время состояла не только из романов и поездок на целину. Она училась в Литературном институте, была центром сложившейся там группы прогрессивной молодежи, и хотя в отличие от многих своих сокурсников никогда не пыталась стать своей в высоких писательских кругах, да и публиковалась мало, над ее головой постепенно стали сгущаться тучи.

Это было время невиданного расцвета популярности поэзии. После смерти Сталина произошел перелом во всем, в том числе и в литературе. Недавний пафос вышел из моды, и, как сказал Евтушенко, «интимная поэзия, бывшая чуть ли не запретным плодом при Сталине, заполнила все газеты и журналы, прорвав плотину». Одновременно стали, пусть и робко, вновь печатать тех, кто еще недавно был арестован и запрещен. В 1956 году в Москве вышел литературный альманах «Литературная Москва», в котором были стихи Николая Заболоцкого и Марины Цветаевой –

это стало первой попыткой напечатать Цветаеву за долгие годы. Ахмадулина вспоминала, что «просвещенная публика вдруг очнулась от всеобщего мрака… какие-то появились новые знаки, обольщающие знаки времени, но это было, как всегда, ошибкой, потому что это продержалось очень недолго». Но как бы то ни было, поэты и писатели хоть ненадолго почувствовали вкус свободы…

И это очень многим не нравилось. Свободу стали постепенно ограничивать. Альманах «Литературная Москва» вышел всего два раза, после чего ему устроили профессиональный разгром критикой со страниц ведущих газет, отработанный еще при Сталине, а потом тихо прикрыли. А против молодых и борзых поэтов повели… не то чтобы войну, слово «война» слишком громкое, скорее пока всего лишь осторожную борьбу, стремясь не уничтожить их, а дискредитировать, показать их неправоту.

Помню, я уже студенткой была, пятьдесят шестой год, когда Фадеев застрелился. Я тоже однажды что-то ляпнула про Фадеева, тоже всё грубости, дерзости, потому что идеализировать образ трудно, признать какое-то изначальное дарование можно, но вот эту страшную судьбу подписывать… Он же возглавлял Союз писателей, все аресты, всё при нем. Причем пятьдесят шестой год, начали возвращаться те, кто уцелел в заключении. Тогда я какое-то детское что-то даже написала про Фадеева, но выкинула и никогда не вспоминала.

Он приготовил пистолет,
Свеча качнулась, продержалась.
Как тяжело он постарел.
Как долго это продолжалось.

Ну, вот, дальше я выкинула и больше никогда не вспоминала. Конечно, гадость, не лезь не в свое дело. Но по-человечески понять можно.

В число этих «молодых и борзых» попала и Ахмадулина. Причем сама она не понимала, за что ей выпала такая «честь». Она все еще считала, что пишет недостаточно хорошо, поэтому старалась стихи лишний раз не публиковать. Увидев в «Комсомольской правде» первый направленный против нее и еще двух студентов Литературного института, Харабарова и Панкратова, фельетон «Чайльд Гарольды с Тверского бульвара», она вообще возмутилась, потому что они процитировали черновик ее стихотворения, которое она не публиковала, не

выносила на обсуждение или семинар, да и вообще почти никому не показывала:

Мы идем усталые,
руки холодны.
Мы с тобою старые,
словно колдуны,
Прилетели лыжники –
Шапки на весу.
Мы с тобою лишние
в молодом лесу.

Она даже написала в газету: «А где вы раздобыли стихи, которые цитируете? Это же мой черновик, не подлежащий никакой огласке, никакому исполнению». Ответа, разумеется, не получила. А вскоре появился и второй фельетон «Верхом на розовом коне», в котором речь шла тоже о каком-то, по ее словам, «ужасном, плохом стихотворении». Но к тому времени она уже перестала негодовать, что воруют ее стихи и показывают их публике без ее согласия. Потому что поняла – это свидетельство успеха. «Некоторую рекламу мне сделали советские власти, когда печатали обо мне фельетоны с очень интригующими названиями, – насмешливо вспоминала она. – Мне с юности была присуща жесткая ирония по отношению к жизни, как бы оборонительная от всего дурного, что соприкасается с тобой. Если всерьез считаться с осведомителем, с клеветником, то на это можно жизнь потратить. Я в тех фельетонах видела даже добрый знак. Те, кто создавал эти фельетоны, создали одновременно мне ту известность, с которой потом не могли совладать. Представьте: никто обо мне ничего не знал, и вдруг какие-то статьи с загадочными заглавиями «Чайльд Гарольды с Тверского бульвара», «Верхом на розовом коне», и читатели заинтересовались. Какая-то причудливая фамилия, кто такая эта Белла Ахмадулина? А потом моя известность никогда мне голову не кружила, просто по моему природному устройству. Разве что она мне создавала своеобразную охрану, потому что подчас без нее мои многие поступки могли бы повлечь более тяжкие последствия».

Я увидела Бориса Леонидовича еще школьницей, я была с одним молодым человеком, который занимался со мной в литературном кружке. Роговин, по-моему, не знаю, но, может, я ошибаюсь. Это был такой многоученый молодой человек, суховатый, сын профессора, избалованный, с апломбом. Мы, школьники старших

классов, зашли в клуб МГУ. Зал был почти пуст, и только в нескольких первых рядах сидели прекрасные дамы в черных каких-то, скромных туалетах. А на сцене читал стихи неизвестный мне человек.

Меня поразил его голос, колдовство какое-то. Это и был Борис Леонидович. Стихи из «Доктора Живаго». Но я этого ничего не знала. А этот молодой человек, Вадим, сказал:

– Я никогда не любил и не понимал Пастернака.

А я ничего про Пастернака не знала, но запомнила какое-то наваждение голоса, неведомое, необъяснимое явление. Вот так я в первый раз услышала. Это было неимоверно. Этот голос, голос, это лицо, эта стать – это другое, это не то, что нам равно. Это я поняла. Так в затмении, в каком-то затмении надолго осталась, потом обстоятельства мне содействовали, и я могла уже читать его, как я могу читать и понимать. А это было рано, это еще в школе…

И поступки, у которых могли быть эти самые тяжелые последствия, не заставили себя ждать. На этот раз дело было в Пастернаке, с которым Ахмадулина, по сути, была едва знакома – в школьные годы слышала, как он читал стихи из «Доктора Живаго», а потом, уже во время учебы в Литературном институте, иногда видела, но познакомиться поближе не пыталась. Спустя много лет она признавалась: «После смерти Пастернака я очень подружилась с его детьми, этот дом стал для меня родным. Но когда он жил там, я боялась и подумать пройти рядом. Со мной всегда так происходит: если я кого-нибудь люблю, то представляю себя нижайшей, не достойной и взгляда его высочайшего».

В 1958 году Борису Пастернаку вручили Нобелевскую премию по литературе, и он стал вторым после Бунина русским писателем, получившим эту премию. Неожиданностью это не было – его выдвигали уже седьмой раз, причем выдвигали люди весьма значительные (в 1958 году это был прошлогодний лауреат Альберт Камю), и все понимали, что скорее всего рано или поздно это все равно произошло бы. Но все равно буря негодования поднялась такая, что в той или иной степени задела всех советских литераторов, да и не только их. Без преувеличения можно сказать, что Нобелевская премия Пастернака потрясла Советский Союз до основания.

Сейчас трудно понять, почему это вызвало такую негативную реакцию, вроде бы гордиться надо, что советский писатель получил мировое признание. Тем более, что в том же году Нобелевской премии по физике удостоились и советские физики

П. А. Черенков, И. М. Франк и И. Е. Тамм. И одновременно с травлей Пастернака в газете «Правда» появилась статья, в которой с гордостью сообщалось о выдающихся достижениях советских физиков, награжденных Нобелевскими премиями. Но, поскольку все понимали, что читатели газеты все-таки не слепые и не глухие и параллели проведут, в статье содержался абзац, что присуждение премий физикам было объективным, а по литературе – вызвано политическими соображениями. Кстати, после этой статьи к Пастернаку приезжал академик М. А. Леонтович и извинялся, говорил, что эти фразы были вставлены в статью без ведома подписавших ее физиков.

В чем же было дело? Да в общем-то причина скандала была проста – премию Пастернаку вручили за роман «Доктор Живаго», который в Советском Союзе был признан антисоветским, запрещен, но тайно издан на Западе. Причем это Пастернаку, возможно, и простили бы, все-таки он уже был фактически живым классиком. Но масла в огонь подлило ЦРУ, выпустившее внутреннюю резолюцию, в которой было сказано: «Эта книга имеет огромную пропагандистскую ценность не только благодаря ее важному содержанию и свойству побуждать к размышлениям, но и благодаря обстоятельствам ее издания: у нас есть шанс заставить советских граждан призадуматься, что не в порядке с их правительством, если литературный шедевр человека, который слывет величайшим из ныне живущих русских писателей, не могут достать, чтобы прочесть на языке оригинала, его собственные соотечественники на его собственной родине».

После того как ЦРУ профинансировало переиздание книги и даже бесплатную раздачу ее молодежи и студентам, особенно в странах социалистического блока, в дальнейшей судьбе Пастернака можно было уже не сомневаться. Такого в СССР не простили бы никому.

Когда стало известно о присуждении ему Нобелевской премии, в прессе началась настоящая травля, превратившаяся вскоре в травлю общегосударственного масштаба. Маститые коллеги громогласно требовали исключить его из Союза писателей, выслать из страны и даже лишить советского гражданства. Повсюду – в вузах, на предприятиях, в комсомольских организациях – проводили митинги и писали осуждающие Пастернака письма. Да и обычные письма, от самых разных людей, шли к нему мешками. На какое-то время Пастернак превратился для всей страны во врага номер один…

Хотя нет, конечно, не для всей. В этих мешках находились и письма со словами поддержки и ободрения, да и на митингах, когда наступало время голосовать за осуждение Пастернака,

многие пытались сбежать в туалет или покурить – смелости возражать открыто хватало не у всех, но вот такое пассивное сопротивление было явлением очень частым. Особенно в литературной среде, где все понимали, кто такой Пастернак и как много он значит для всей русской и советской литературы.

Разумеется, обязан был поучаствовать в этой кампании и Литературный институт – преподаватели и тем более студенты, как бы воплощавшие собой «будущее советской литературы», должны были подписать письмо с осуждением Пастернака и требованием выслать его из Советского Союза. «Мой такой недолгий успех продолжался, пока Борис Леонидович Пастернак не получил Нобелевскую премию, – вспоминала Ахмадулина. – В институте разразился скандал, да не только в институте, в институте только в малой степени. Всем объявили: этот писатель – предатель. Некоторые с легкостью подписывали обвинения, некоторые просто не понимали, о чем речь. Да, взрослые писатели, некоторые именитые писатели подписывали фальшивые проклятия Пастернаку… Это касалось всех писателей, редко кому этого удалось избежать, то есть порядочные люди, конечно, так или иначе старались от этого уклониться как-то, хотя бы как-то не замараться, как-то сохранить свою опрятность, но некоторым это не удалось».

Недавно комитет комсомола Литинститута исключил из комсомола известную троицу – Харабарова, Панкратова и Ахмадулину. Была про них статья в «Комсомолке» – «Чайльд-Гарольды с Тверского бульвара». Но на общем, причем закрытом, комсомольском собрании все проголосовали против исключения.

Из дневника писателя Ивана Щеголихина.

И вот тогда произошла одна история, оставившая в памяти Ахмадулиной неизгладимый след – четкое осознание, что вот так поступать нельзя никогда и ни в коем случае.

История эта произошла с двумя ее приятелями – Панкратовым и Харабаровым. Теми самыми, которые были вместе с ней героями фельетона «Чайльд Гарольды с Тверского бульвара». «Они тоже выделились в такие как-то одаренные, – говорила она. – Между тем они были из глухой провинции, сироты, но в них что-то было, по-моему, было явное присутствие каких-то способностей. И вот мы какую-то выпустили газету – «Мы!» с восклицательным знаком… Все это было связано даже не со мной, то есть, мы были просто дружны, и, действительно, они писали, как-то избегая общей похожести. Они были один откуда-то из Казахстана, другой – из Сибири, и мы были дружны, очень

дружны. Кончилось это печально, но не из-за меня.

Они ходили к Борису Леонидовичу в Переделкино, читали ему свои стихи, он очень хвалил их, одобрял. Я никогда никуда не ходила. Они ходили и разговаривали с ним и были такие счастливцы. У меня на всю жизнь это осталось, то, что в стихах где-то у меня написано, что «всех обожаний бедствие огромно», то есть я не желала, никогда не могла никуда ходить, то есть, вот сохраняла свою такую отдельность, и если это обожание, то это не значит, что надо стучаться в двери. Так я думала, и я была права.

Но надо сказать, что были какие-то мрачные силы и в институте, а тем более вне. Вот в первом этом фельетоне, в котором меня осмеивали, как-то и Панкратова с Харабаровым тоже касались. Вообще на них обратили внимание, потому что они как-то задорно держались, и, видимо, я потом думала, что кто-то их и запугивал, и, в общем, кто-то портил их жизнь, но главное – их душу, потому что вместо вот такой молодой и свежей дружбы все это превратилось в ничто… В молодые годы и таких беззащитных людей очень легко пугать, портить какими-то мрачными силами, и вот их это, несомненно, коснулось. Растлевать слабые души – это очень удобно для вот этих обольстителей».

Что же такое произошло? Да вполне бытовой с виду случай. Когда от студентов потребовали подписать письмо с осуждением Пастернака, два молодых человека, которые были с ним хорошо знакомы, поехали к нему и попросили, чтобы он разрешил им это письмо подписать. Потому что их подписи все равно ничего не изменят, а если они откажутся, их просто исключат из института.

И в общем-то это было чистой правдой. Действительно, подпишет или не подпишет один студент или даже целая группа, не имело никакого значения. Можно вспомнить ту историю с учительницей, за которую Белла Ахмадулина и ее одноклассники ходили просить в РОНО – это ей ничем не помогло, зато весь класс исключили из школы. А ведь там речь шла всего лишь о школьной учительнице, не устраивающей руководство. Что уж говорить о случае с Пастернаком – знаменитым на весь мир писателем, не устраивающим советское правительство. Любое сопротивление было бесполезным.

Эту историю описывала в своих мемуарах «В плену времени» и последняя возлюбленная Пастернака Ольга Ивинская, которую такая просьба тоже глубоко потрясла.

Нам говорили, что Белла Ахмадулина и многие молодые вокруг нее (и кроме нее) сочувствуют Б.Л. и хотят как-то помочь

ему, но не решаются приблизиться, потревожить его, не знают как выказать свою любовь, сочувствие, поддержку. Панкратов и Харабаров через знакомство с Ирой в этом больше преуспели и какую-то моральную поддержку Б.Л. оказали. Но и в нее попала ложка дегтя. Борис Леонидович так об этом рассказал Евгению Евтушенко.

– Были у меня Юра и Ваня, сказали – если не подпишут письмо Фирсова с требованием высылки меня из России – их исключат из института. И спросили – как быть? Ну что вы, – ответил я, – какое это имеет значение, пустая формальность – подпишите. И, выглянув в окно, увидел, что они побежали вприпрыжку, взявшись за руки. Какая странная молодежь, какое странное поколение. В наше время так было не принято.

Да, я видела – этот поступок Б.Л. не смог душевно принять, как не мог он принять никакое предательство.

Ольга Ивинская, «В плену времени».

Ахмадулина сумела отнестись к этой истории на удивление трезво для такой юной идеалистки, какой в то время была. Она всегда твердо стояла на земле, и никакие высокие идеалы не затмевали для нее здравый смысл. «Я совершенно их не бранила, – говорила она, – я думала, да куда они денутся, в армию пойдут или что? Я думала, что они беззащитны в своем сиротстве, в этом вот, один из Сибири, другой откуда-то из Казахстана, и именно из-за их уязвимости на них и обратили внимание. Просто для себя вдруг, впервые для себя, я четко поняла: все мои страдания, горе – не сравни одно с другим. Но это такая первая проверка человеческой сути. Ведь все-таки, кроме метростроевской оранжереи с тропическим помидором, конечно, опыта было немного…

Надо сказать, что я с ними не поссорилась, никаким укором их не задела, то есть я понимала, что это вот еще по молодости, я понимала эту слабость, которая так легко поддается гнили и гнету…»

Она не зря так подробно описывала свои мысли, чувства, ощущения от этого поступка бывших приятелей. Ведь и ей давали это письмо на подпись. Но она не подписала. А потом смотрела на окружающих, на людей, с которыми вместе училась, дружила, и думала: почему они подписали? И не просто думала, а анализировала, пыталась заглянуть в их души, понять, что ими двигало. А поняв, не стала осуждать. Страх – вот что было в то время бичом общества. Люди росли в страхе и не могли от него избавиться, даже когда страна со скрипом стала меняться и эпоха репрессий осталась позади. Хотя далеко ли позади? Травля

Пастернака началась, когда со знаменитого «дела врачей» прошло всего пять лет, и все хорошо помнили, чем может обернуться непослушание.

Ахмадулина признавалась, что этот всеобщий страх был не чужд и ей тоже. Как-то ночью, после того как она отказалась подписывать письмо против Пастернака и ей уже пригрозили всеми карами небесными, начиная с исключения из института и заканчивая смутным призраком лагерей, около ее дома остановился автомобиль. И ей стало страшно. «Я испугалась, – признавалась она, – потому что у меня была моя любимая собака, которая и была куплена на тот первый гонорар. Он долго со мной жил, и это навсегда оставалось и сейчас моей осталось трагедией – мысли об этой собаке. Вот я подумала, как он испугается, я подумала, что это за мной пришли».

«За мной пришли» – страшные слова, которые сейчас уже не несут той смысловой нагрузки, что в 50-е годы. Но тогда это был ночной кошмар любого человека. Страшные истории о том, как по ночам у дома останавливается черный автомобиль, туда сажают человека, и больше он никогда не возвращается, даже не обсуждались на кухне. Об этом вообще лишний раз не говорили. Просто все знали, что так бывало, а значит, может случиться и с ними.

Но страхи Ахмадулиной оказались напрасны, это были как раз Панкратов с Харабаровым, которые хотели с ней поговорить и, видимо, как-то объяснить свой поступок. Но это было бесполезно – она уже все для себя решила. «Они пришли и с каким-то таинственным видом, – говорила она, – потому что они не могли впрямую оправдаться, а я как-то и не желала слышать оправданий. В общем, мне навсегда, на всю жизнь, они стали совершенно чужими людьми. Но про себя я думала, потом я думала, что они не могли по-другому, я жалела, я понимала, что их исключат из института, возьмут в армию, они бездомные, сироты, но… Мне было как-то иначе. Их очень искушали, а меня – нет…»

Я постоянно чувствую свою соотнесенность с миром и явью, к которой мне особенно мучительно приспосабливаться, даже по сравнению с другими поэтами. Абстрагироваться от внешних событий? Нет, у меня нет такой возможности.

Сейчас, когда я в опале, мне особенно трудно, но с другой стороны – я надеюсь, что обрету для себя нечто в связи с этой опалой. Поэт должен постоянно спрашивать: совершенно ли ты готов на муку? А иначе тебя сотрут или подстригут, как газон. У великих поэтов – Мандельштама, Пастернака, Цветаевой,

Ахматовой – был этот дар. Конечно, в какой-то степени время и среда предопределили их стойкость. Их детство протекало в эпоху, благодатную для воспитания ума и характера. Для них невозможно было поступиться своим талантом, своими принципами. Им нельзя было предложить выбор: спокойное существование или дыба. Но тех, кто пришли за ними, кто воспитан был в другую эпоху, уже было гораздо легче искусить. Ведь что важно: человека можно испытать любыми несчастьями, страданиями, и он останется верным себе. Но куда тяжелее испытания благоденствием. Я знаю многих людей, которые с честью вышли из испытания тяготами, но не выдержали испытания похвалами или благополучием. Это самое опасное.

Но настоящие поэты и не думают, что такое искушение возможно, – именно поэтому они велики. Поэзия ведь жестокая вещь: она не прощает тем, кто купился, запятнал себя – это мгновенно чувствуется в слове, и такие поэты лично мне неинтересны. В то же время даже в ужасной судьбе Марины Цветаевой я нахожу для себя утешение.

Казалось бы, что может быть трагичнее: девочка, родившаяся в прекрасной обстановке, чье детство протекало среди людей с высоким разумом, открытым для красоты. И настоящее чудо было содеяно – снова появился в России поэт с необыкновенно ярким умом и талантом. А потом невыразимые, ужасные испытания, известные всем. И все же мы сейчас находим утешение в том, что Марина не была сломлена, не поступилась ничем. И я иногда думаю, если Бог предъявит счет человечеству за страшные злодеяния, которые на земле совершались, за уничтожение миллионов людей, и в том числе лучших, таких как Мандельштам и Платонов, чем же человечество оправдается? Чем оправдаются все эти любители сервантов и телевизоров, доносчики и убийцы? Наверное, они будут оправдываться тем, что в ту жестокую эпоху жили, создавали шедевры и остались в памяти Мандельштам, и Платонов, и Цветаева. И, несмотря на то что они были уничтожены, человечество, может быть, будет прощено за то, что они все-таки были. И это характерно не только для нашей страны – повсюду поэтам приходится страдать, ибо так уж устроено, что поэзия несовместима с благополучием. У нас эти примеры ослепительны.

Так за что именно Белла Ахмадулина осуждала этих двух несчастных студентов? Конечно, не за страх и не за то, что они боялись вылететь из института. Боялись все, и почти все подписали эти осуждающие письма. Она не считала себя вправе осуждать подписавших и даже не считала себя вправе мерить их

по своей мерке, ведь, несмотря на юность, она сумела сделать то, на что многие не способны до глубокой старости, – понять, что ситуации бывают разные и нельзя требовать одного и того же от москвички из почти номенклатурной семьи и простых мальчиков из деревни. Но, глядя на Панкратова и Харабарова, она ясно поняла, где проходит граница между слабостью и подлостью. Человек может струсить, может предать, это плохо, но все же понятно, по-человечески. Но нельзя просить разрешения на предательство у того, кого ты предаешь. Это за пределами того, что можно понять и простить.

Евгений Евтушенко писал в своих воспоминаниях, что Пастернак тоже примерно так и думал, поэтому очень раскаивался в том, что дал этим двум ребятам такое разрешение, тем самым подтолкнув слабых людей совершить предательство: «Я им разрешил», – сказал мне Пастернак перед своей смертью. Он очень жалел об этом, постоянно спрашивал: «Какое я имел право? Поэт, предавший другого поэта, – конченый человек». Он оказался прав: Панкратов и Харабаров исчезли из литературы».

Совершив дурной поступок, человек первым торопится порвать отношения. Он не прощает вам своего падения.

А что же сама Ахмадулина? Она ведь осмелилась на то, на что почти ни у кого не хватило духу, – все-таки отказалась подписывать письмо, требующее высылки Пастернака из страны, мотивировав это тем, что роман «Доктор Живаго» не читала, поэтому не может за него и осуждать, а стихи Пастернака очень любит, и за них тем более осуждать не будет. Кстати, почти такой же аргумент привел академик Л. А. Арцимович, который тоже отказался ставить свою подпись под статьей, осуждающей Пастернака. Он напомнил завет, который оставил ученым академик И. П. Павлов – первый русский нобелевский лауреат и бесспорный авторитет в советской науке, – говорить только то, что знаешь. И потребовал, чтобы ему дали прочесть «Доктора Живаго», тогда он готов будет осудить писателя за эту книгу или не осудить.

Но Арцимович был академиком, лауреатом Сталинской премии и «отцом» термоядерного синтеза, а Белла Ахмадулина – всего лишь студенткой Литературного института. И тем не менее она не испугалась. Почти – за исключением того случая с машиной.

Хорошо, если уже в раннем возрасте человек понимает, что ты один раз ошибешься и потом всю жизнь, всю жизнь… Но мне и

в голову не приходило ошибаться, я не могла этого сделать, это было бы так же странно, как, я не знаю, обидеть мою собаку или какое-то злодеяние.

Почему она не боялась? Вроде бы странный вопрос – ну да, не боялась. Смелая была, да и ничего страшного с ней после этого действительно не случилось. Только из института исключили, ну так это не страшно, потом доучилась. Но это нам сейчас кажется, что так и должно было быть. В то время все воспринималось по-другому. К примеру, можно вспомнить знаменитую выставку в Манеже в 1962 году, на которой Хрущев раскритиковал в пух и прах работы молодых художников и скульпторов. Они рассказывали потом, что после ухода Хрущева разъехались по домам и стали готовиться к худшему – прятать компрометирующие бумаги, раздавать друзьям книги запрещенных писателей, в общем, чуть ли не сухари сушили, готовясь к лагерям. Даже о возможной высылке из страны вспоминали только те, у кого было побольше оптимизма. И когда ничего такого с ними не произошло, обошлись несколькими разносами на собраниях и временной потерей работы, поверить не могли, что на этом все, репрессии окончены.

А Белла Ахмадулина не боялась! Ну как это могло быть? Ведь у нее и отец был когда-то репрессирован, не защитила его даже высокая должность. Знала она, как в жизни бывает, наивной не была. Возможно, дело в ее личном мироощущении. Когда читаешь ее интервью, все время поражаешься, насколько точно она ощущает время, в котором живет. И даже тогда, в 1958 году, почти все еще тряслись от привычного страха, а она – юная студентка – чувствовала свежий ветер «оттепели». Обманчивый и переменчивый, но дышалось им гораздо легче. Хотя большинству еще только предстояло учиться им дышать…

К своему туманному будущему Ахмадулина отнеслась философски: «Ну, а меня что – исключать из института. Я уже была на четвертом курсе. Но я просто со смехом, потом со смехом, хотя какая-то печаль, вот когда я стала совсем одна, какая-то печаль, конечно, была, но дело в том, что меня очень бодрила публика вокруг, на миру и смерть красна».

Все это было неожиданным – я имею в виду внезапную «оттепель». Это было странное время, сейчас – здесь, я видимо, рассуждаю с позиций того, что долго живу, – время совсем другое. А тогда поднялся вихрь, хотя внешне вроде бы ничего не происходило. Появилась Белла, другие поэты.

Вспоминая те давние времена, удивляюсь – как это крыло

свободы задело Россию? Люди стали свободно выражать мысли друг другу, и Белла в этом окружении стала явлением. Даже просто ее голос, ее мир – совершенно другой. И она, конечно, сумела вокруг себя создать мужчин – открытых, элегантных, нас с вами.

Юрий Любимов, режиссер, актер и педагог, создатель московского Театра драмы и комедии на Таганке.

Приметой нового времени стало и то, что исключить ее за отказ подписать письмо было нельзя. И просто так объявить врагом народа уже тоже было невозможно. Пришлось придумывать причину, по которой можно было бы отчислить строптивую студентку. Думаю, любой, кто учился в вузе, понимает, что при большом желании найти такую причину проще простого – всегда есть предмет, на котором можно «завалить» кого угодно. Для Ахмадулиной таким предметом стал марксизм-ленинизм.

«Я, естественно, не поспевала по этому предмету, – честно признавалась она. Не удивлюсь, что при ее отвращении к учению Маркса и Ленина она даже не пыталась его изучать. – У нас была преподавательница по диамату, а у нее был диабет, и я однажды перепутала диамат и диабет. Это диалектический материализм – диамат. Ну, мне тогда защитывалось это как цинизм. Да нет, я не знала, я не хотела обидеть… Мне прислали для последней переэкзаменовки преподавателя из Института марксизма-ленинизма, он был человек армянского происхождения и какой-то профессор. Он пришел для испытания, целая толпа студентов у двери стояла, мы три часа беседовали».

Сначала преподаватель спросил Ахмадулину, почему она не подписала письмо, осуждающее Пастернака, получил тот же ответ – что она не читала «Доктора Живаго», поэтому не может и осуждать. Дальнейший же их разговор был больше похож на один из анекдотов про студентов, сдающих экзамены.

Преподаватель: Что Мао Цзэдун сказал про рабочее движение?

Белла: Что рабочее движение есть прогрессивное, ведущее учение для всех.

Преподаватель: Ну, что-то вы знаете.

Белла: Вы думаете, я это читала? Я сейчас это придумала.

Что поделать, она всегда была остра на язык, а сейчас, зная, что приказ о ее отчислении уже готов, и этот экзамен простая формальность, и вовсе не пыталась сдерживаться. Тем не менее

преподаватель честно проэкзаменовал ее и напоследок предупредил: «Я вижу, вы неисправимы, но это довольно опасные шутки». Но Ахмадулина уже разошлась, ее было не остановить: «Меня привели к директору, Серегину Борису Николаевичу, который уже объявил мне об исключении… – рассказывала она. – Он сказал:

– Мы тебя, конечно, исключим, но если ты два года поработаешь на производстве, как советские люди, то мы через два года посмотрим.

Я говорю:

– Насколько я знаю, у нас с промышленностью и так не очень хорошо, и уж мое участие ничего там не может исправить. Я лучше чем-нибудь другим буду заниматься, я же что-то делаю, пишу, перевожу.

Он говорит:

– Вот-вот, вот оно.

Ну, и подписал, значит, исключение. Какие два года, чего тянуть? Но я на него смотрела, и мне лицо его казалось каким-то, какая-то желтизна в нем, какая-то болезнь и какая-то слабость вообще. Я думала: «А жалко его». Это правда. Вот когда я его вспоминаю, я думаю, по-моему, жалко. А, наверное, так вот поживешь, как они, действительно, пожелтеешь.

А после этого я вышла на Тверской бульвар, я и до сих пор с нежностью бульвар-то вижу, и зла у меня никогда против них не было, никогда».

Про Бориса Леонидовича после уже исключения меня из института. Это описано мною, как я еще раз его увидела и как опять подтвердилась моя формула «Всех обожаний бедствие огромно».

Я была исключена из института, и меня какие-то старшие какими-то уловками пристроили в Дом творчества в Переделкине осенью пятьдесят девятого года. И вдруг я увидела Бориса Леонидовича. Он пришел в контору, которая до сих пор, по-моему, есть. У них тогда не было телефона, и он пришел звонить. И опять меня поразило его лицо. Он не знал про исключение, ведь я к нему не ходила, это они ходили, вот все ходили – и Вознесенский ходил… Но я никогда не ходила. И вдруг, луна сияла, я увидела это лицо, нешмоверное лицо. Оно, и правда, нешмоверное, но кто любит это лицо, может, конечно, утешать себя лицом Евгения Борисовича, очень похожим, и его голосом. Но его необыкновенная мягкость, доброта. Я поняла, что он идет звонить, а я стояла у порога, и я отступила. Но что-то его заинтересовало, я не знаю. Он как-то вгляделся в меня. Но его лицо и голос… Я смотрела на

его лицо, совершенно очарованная, и ничего не сказала, но ведь я могла сказать. Я только поклонилась и сказала:

– Здравствуйте.

Он с каким-то добрым и живым любопытством смотрел на меня. Была осень. Ему еще оставалось время. Он еще потом поедет ненадолго в Грузию и умрет, как известно, в мае. И вот так нежно и так ласково сказал. Этот голос исходил из недр, которые неспроста родятся, неспроста звучат. Он всмотрелся в меня, что-то ему напоминало, наверное, ему все же говорили про мое исключение, но я ничего не говорила, хотя уже давно была вне института, то есть с весны. Как раз к дню рождения исключили. И он сказал:

– Мне, да, да, мне о вас рассказывали, и я вас сразу узнал.

Но, может быть, это была необыкновенная галантность, доброта, ему всегда присущая.

– А скажите, почему вы никогда не зайдете? Подчас у нас бывают милые, интересные люди.

Меня так поразило, что он сказал, что бывают какие-то еще интересные люди.

Ничего я не говорила, смотрела на него, смотрела. Так один раз в жизни смотрят, ведь я больше его не увижу. Он был в этом синем плаще, в этой кепке. А я уже читала, уже читала, но и бедствия его уже были безобразны. Но он был мягок, ласков вот этой осенью, хотя уже надвигалось все на него, то есть на него и на Ивинских. Мало надо, чтобы увидеть такое безукоризненное величие, такое простодушие. А еще вот это: «Почему вы не заходите? У нас бывают иногда милые, интересные люди. Приходите завтра». Я потом описала это: «Я не пришла ни завтра, ни потом».

С этим обожанием к Борису Леонидовичу было связано много моих сюжетов, все, что могло коснуться причиненной ему обиды, сказывалось целым печальным событием в моей жизни, и этих случаев было очень много.

Но должен быть такой на свете дом,
куда войти – не знаю! невозможно!
И потому, навек неосторожно,
я не пришла ни завтра, ни потом.

Я плакала меж звезд, дерев и дач –
после спектакля, в гаснущем партере,
над первым предвкушением потери
так плачут дети, и велик их плач.

Возраст любви

Важнее любви ничего на свете нет. Любовь – дело тяжелое! Она состоит из сложностей, но надо их перетерпеть. История Ромео и Джульетты в переводах разных поэтов заканчивалась трагично. В переводе Пастернака это звучало так: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». А я решила закончить по-другому, не как все: «И нет тому счастливее примера, чем повесть о Джульетте и Ромео».

Литературный институт, стихи, фельетоны, многочисленные поклонники, дело Пастернака – все это занимало значительную часть жизни Беллы Ахмадулиной в первые годы после окончания школы. Но была и еще одна сторона ее жизни, которая в предыдущей главе намеренно почти не упоминалась. Потому что она стоит того, чтобы поговорить о ней отдельно.

Речь, как нетрудно догадаться, идет о любви. Меньше чем за четыре года Белла Ахмадулина пережила свою первую настоящую любовь, первый брак, первую потерю любви, первую настоящую женскую трагедию и первый развод. А «виновником» всего этого был в то время совсем молодой поэт, а сейчас уже давно легендарный, живой классик – Евгений Евтушенко.

«В 1955 году я наткнулся в журнале «Октябрь» на трогательные, по-детски целомудренные строчки: «Голову уронив на рычаг, Крепко спит телефонная трубка», – вспоминал он. – А стоило прочитать рядом: «По-украински март называется «березень» – и, с наслаждением отфыркиваясь, выныривала чуть ли не с лилией в мокрых волосах пара к березню: бережно. Я сладостно вздрогнул: такие рифмы на дороге не валялись. Тут же позвонил в «Октябрь» Жене Винокурову и спросил: «Кто эта Ахмадулина?» Он сказал, что она десятиклассница, ходит к нему в литобъединение при ЗИЛе и собирается поступать в Литинститут. Я немедленно заявился в это литобъединение, где впервые увидел ее и услышал ее самозабвенное чтение стихов. Не случайно она назвала свою первую книгу «Струна» – в ее голосе вибрировал звук донельзя натянутой струны, становилось даже боязно, не оборвется ли».

Евгений Евтушенко был не намного старше Беллы Ахмадулиной – ему было двадцать три года, но он уже даже являлся членом Союза писателей. У него уже была богатая биография. В школе он считался злостным прогульщиком, и эта репутация была совершенно заслуженной. Однажды бабушка, на потеху всей улице, вообще привела его в школу на веревке, как

теленка. Он удирал с уроков по любому поводу и честно признавался: «Прогул – это была единственная доступная тогда свобода. Даже улицы пахли по-другому во время прогула».

Было бы, конечно, очень романтично, если бы он убегал, чтобы в тишине и одиночестве писать стихи, но это не так. Он удирал и на каких-то пустырях играл с такими же прогульщиками в футбол, бывший его второй главной страстью после поэзии. И в результате остался в седьмом классе на второй год, потому что не сдал математику, физику и химию.

Впрочем, ему это было безразлично, эти предметы его мало интересовали. Он был юн, дерзок и постоянно лез на рожон. В своей автобиографии он рассказывал о том, как к ним в школу приезжал инструктор райкома комсомола с разъяснительной лекцией о докладе Жданова, осуждающем Ахматову и Зощенко, имена и произведения которых, разумеется, были отлично известны будущему поэту. «Я был дотошный мальчик и пришел на лекцию, вооруженный томом «Литературной энциклопедии» тридцатых годов, – вспоминал он. – Я раскрыл энциклопедию и одновременно брошюрку с ждановским докладом, изданную миллионным тиражом. Я был краток:

– Нас всегда учили, что списывать нехорошо. Но вот посмотрите, что здесь написано об Ахматовой. И там и здесь все то же самое – что в лоб, что по лбу. И там и здесь Ахматова названа «монахиней и блудницей». Смотрим, когда вышла энциклопедия. Пятнадцать лет назад. Значит, ясно, кто списал. Я предлагаю отправить от нашей школы коллективное письмо товарищу Сталину и попросить его сказать товарищу Жданову, чтобы тот больше не списывал».

Как это не пошло дальше и осталось лишь на уровне небольшого школьного происшествия, сказать трудно. Наверное, просто все присутствующие были заинтересованы в том, чтобы забыть о случившемся. Евтушенко быстренько объявили больным с высокой температурой и отправили домой, а потом поспешили перевести в другую школу, в Марьиной Роще, чтобы даже следов от него и его разговоров в их школе не осталось.

Но и в той «школе для неисправимых», как он ее называл, Евтушенко тоже не доучился, хотя там сквозь пальцы смотрели на его прогулы (у многих учеников были прегрешения и похлеще), а директор-фронтовик оценил его стихи. Но вмешалась случайность – как раз после того, как он получил «единицу» по немецкому, кто-то взломал учительскую, украл все классные журналы, а потом их нашли полусожженными на свалке. Обвинили Евтушенко, что его очень сильно обидело. «Честно говоря, сжечь классные журналы я был способен, если бы меня

сильно разозлили, – признавал он. – Но там произошло кое-что похуже – кто-то стукнул старика-сторожа по голове, а вот этого я сделать не мог». Доказать, разумеется, ничего было нельзя, но других подозреваемых не было, и его все-таки выгнали из школы.

Спустя несколько лет, когда его стихи стали приобретать популярность, ему позвонил директор школы и пригласил на встречу выпускников. А на этой встрече один из бывших одноклассников Евтушенко (кстати, впоследствии ставший членом-корреспондентом Академии наук) признался, что это он сжег классные журналы, и попросил прощения у него, директора и всех ребят. Оказалось, он был всегда круглым отличником, а тогда впервые получил… пятерку с минусом.

Директор плакал настоящими слезами: «Почему я тебе не поверил тогда, по-че-му? Почему я тебе выписал «волчий паспорт»… Ты мог бы от отчаянья стать вором, и, кто знает, может быть, убийцей… Это я бы тебя сделал таким, я… Какая страшная ошибка…» А через несколько лет Евтушенко, случайно попав уже на его могилу, увидел на ней строчки из своего стихотворения «Марьина Роща»:

Поняли мы в той школе
цену и хлеба и соли
и научились у голи
гордости вольной воли.

К счастью, директор школы, как и многие другие, недооценивал Евтушенко. Тот был слишком увлечен своей целью стать поэтом, чтобы свернуть на слишком уж кривую дорожку. Хотя попытки делал – и с хулиганами связывался, и в авантюрах участвовал. Но все затмевало его упорство, с которым он писал стихи и добивался, чтобы их напечатали. Ему отказывали, а он «продолжал писать с упорством маленького сумасшедшего».

После исключения из школы он какое-то время скрывал это от матери, а потом уехал в Казахстан, к отцу, бывшему там начальником геологоразведочной экспедиции. «Он посмотрел на меня, исхудавшего, оборванного, и сказал: «Ну вот что… Если ты действительно хочешь стать самостоятельным человеком, никто не должен знать, что я твой отец».

Что ж, для вчерашнего школьника и хулигана это был важный и полезный опыт. В этой экспедиции Евтушенко впервые почувствовал себя не мальчишкой, а мужчиной (хотя было ему тогда четырнадцать лет), посерьезнел, возмужал, научился сам о себе заботиться, жить в походных условиях, а также «долбить землю киркой, выкалывать молотком из породы плоские, как

ладонь, образцы, расщеплять бритвой на три части оставшуюся единственную спичку и разводить костер во время дождя».

Вернулся он, чувствуя себя серьезным взрослым человеком. На заработанные в экспедиции деньги купил печатную машинку и вновь начал писать стихи и рассылать их в газеты. Правда, и вторая его страсть – футбол – никуда не пропала. Он писал стихи и играл в футбол – это занимало все его время. «Я возвращался в изодранных ботинках, в разорванных брюках, из которых торчали кровоточащие коленки, – вспоминал он. – Самым упоительным звуком мне казался звук удара по кожаному мячу. Обвести множество противников неожиданными финтами и дриблингами, а затем всадить «мертвый» гол в сетку мимо беспомощно растопыренных рук вратаря – все это казалось мне, да и продолжает казаться до сих пор, очень похожим на поэзию. Футбол меня многому научил. Потом я стал играть вратарем, и это научило меня не только нападать, но и зорко следить за малейшими движениями противников и предугадывать, когда эти движения обманны. Это впоследствии помогло мне в моей литературной борьбе…

В футболе во многом легче. Если ты забил гол, тому есть прямое доказательство – мяч в сетке. Факт, как говорится, неоспорим. (Правда, и тут судьи могут не засчитать гол, но все-таки это исключения.) Если ты забиваешь поэтический гол, то чаще всего раздаются тысячи судейских свистков, объявляющих этот гол недействительным, и доказать ничего невозможно. И очень часто удары мимо ворот официально объявляются голами».

Как это часто в жизни бывает, в один прекрасный момент он оказался перед выбором – поэзия или футбол. Потому что и там, и там прорыв случился одновременно. Как вратарь он сумел отбить три пенальти, и его пригласил прийти на пробу тренер одной серьезной команды. А в газете «Советский спорт» приняли его стихотворение «Два спорта».

И неизвестно, что бы он выбрал, если бы был тем самым взрослым серьезным человеком, каким себя считал. Но он был все-таки пятнадцатилетним мальчишкой. Поэтому, получив гонорар за стихи, он решил поступить так же, как делали великие поэты, – прокутить его. Прихватил друга, двух девчонок и отправился в ресторан. Там заказал сухое вино (о степени его детской наивности говорит хотя бы то, что он искренне думал, что раз оно сухое, значит, будет в таблетках), напился и, конечно, наутро провалил пробу на стадионе:

«Тренер простер руки и, обращаясь к замершим футболистам, произнес:

– В десять часов утра! Пятнадцатилетний ребенок совершенно

пьян! Мне стыдно жить в этом растленном веке!

Так бесславно закончилась моя футбольная карьера».

Итак, выбор между спортом и литературой больше не стоял – футбол остался только в виде хобби, и Евтушенко с головой погрузился в написание стихов для газеты «Советский спорт». Скоро он стал, как сам говорил, «заправским газетным поэтом». Писал «стихи, посвященные футболу, волейболу, баскетболу, боксу, альпинизму, гребле, конькобежному спорту, а также стихи к различным датам: к Новому году, к Первому мая, к Дню железнодорожника, к Дню танкиста и т. д.» В какой-то момент ему намекнули, что у его стихов проблемы с идеологией, и с тех пор в каждом стихотворении стали появляться строчки о Сталине.

Это была работа на поток, на конвейер, стихи как средство зарабатывания денег. Правда, против совести Евтушенко не шел. В отличие от Ахмадулиной он в то время искренне верил в советские идеалы. Ну а стихи… нет, они не были халтурой. Это же все-таки был Евтушенко, а с его талантом даже дежурные стишки к Новому году получались все равно настоящими стихами. Ну а сам он называл этот период временем наращивания поэтических мускулов, ведь когда пишешь на поток – нарабатываешь опыт, совершенствуешь мастерство. Это понимали и его друзья. Но все-таки пришло время, когда они ему сказали: «Женя, вы уже научились тому, как писать, теперь нужно думать о том, что писать».

Как раз тогда вышла его первая книга «Разведчики грядущего», которой он, как все молодые литераторы, был безумно рад. Первая книга! На нее смотришь, не веря своим глазам. Евтушенко в этом нисколько не отличался от всех остальных – с радостью читал доброжелательные отзывы критиков, ходил в магазин смотреть на свою книгу, выставленную на полке. Но именно там, в магазине, и произошла встреча, окончательно показавшая ему, что время «наращивания поэтических мускулов» прошло, пора вновь задумываться о смысле того, о чем пишешь.

Какой-то молодой человек, листая сборники стихов, заглянул и в «Разведчиков грядущего». Но просмотрев несколько страниц, он отложил ее со словами: «Не то. Да разве это стихи? Барабанный бой!»

Евгения Евтушенко это прямое заявление сразило наповал. «Вернувшись домой, – говорил он, – я перечитал заново книгу и вдруг с предельной отчетливостью понял, что она никому не нужна. Кому может быть дело до красивых рифм и броских образов, если они являются только завитушками вокруг пустоты? Что стоят все формальные поиски, если из средства они

перерастают в самоцель? Я вышел из дому и побрел, одинокий, сквозь огни. По улицам шли люди, возвращающиеся с работы, усталые, неся в руках хлеб и картонные коробки пельменей. Годы строек и войны, годы великих побед и великих обманов наложили на их лица свою трагическую тень. В их усталых взглядах и ссутуленных спинах было сознание невозможности что-то понять. Им нужно было нечто совсем другое, чем мои красивые рифмы».

После этого он какое-то время вообще не писал стихов. Ему требовалось время все переосмыслить. Тем не менее, изданная книга, какой неудачной он бы теперь ее ни считал, ему очень помогла – благодаря ей его приняли в Литературный институт и в Союз писателей. Напоминаю, что из школы его выгнали, поэтому аттестата о среднем образовании у него не было. Но профессия писателя достаточно специфическая, поэтому для обеих этих организаций аттестатом ему послужила книга.

Партийные руководители вовсе не разгоняли этот Пролеткульт, РАПП и прочие уродства – они им не мешали. Им надо было взять в свои руки все эти неподвластные им группки и направления…

Контролировать – не руководить! Им нужно было другое – поместить каждого под неусыпное око. Вот поэтому они и загнали писателей в одно стойло, которое назвали «Союзом». А потом та же участь постигла и музыкантов, и живописцев, и артистов. «Умница, – сказала мне Анна Андреевна, когда я поделилась с нею своей догадкой. – Только умоляю тебя: никому не сообщай об этом!»

Фаина Раневская

Что в то время означало быть принятым в Союз писателей? Для поэта или писателя, без преувеличения – почти все. Это присваивало человеку формальный статус, дающий право заниматься литературной деятельностью. Только член Союза писателей имел право писать стихи, прозу, драматургию и больше нигде не работать. А если кто-то писал все то же самое, не состоя в Союзе писателей и не имея другой работы, он считался тунеядцем.

Издавали тоже в основном членов Союза писателей. Нет, конечно, можно было время от времени печататься в газетах или даже выпустить какую-нибудь книгу, и не состоя там. Но по большей части все это было лишь ступеньками к Союзу писателей. А вот попадание в эту организацию означало, что теперь перед тобой открыт путь в большую печать. «Тиражи поэтических книг тогда зависели не от спроса покупателей, а от

официального положения поэтов, – вспоминал Евтушенко. – Поэтому все магазины были завалены никому не нужными поэтическими книгами».

Ну и наконец, нельзя забывать о материальной стороне. Писатели зарабатывают своими произведениями. Кого печатают, тот при деньгах, а кто пишет «в стол», тот должен найти себе какую-нибудь другую работу, чтобы не умереть с голоду. В советское время было примерно так же, за исключением того, что под крылом Союза писателей и Литфонда можно было получить немало дополнительных благ, даже публикуя по стихотворению в год.

Занимался Литфонд и жилищным вопросом писателей. С квартирами все обстояло очень сложно, они распределялись на самом верху, но кроме них у многих литераторов (как и у других деятелей культуры) еще с 30-х годов были участки в Подмосковье, выделенные под дачи. В первую очередь знаменитые Переделкино и Комарово. Поэтому в 40–50-е годы были выделены деньги, на которые некоторым писателям построили там дачные дома. Правда, в долг, но артистам, например, пришлось строиться полностью за свой счет.

Заболевшим литераторам оказывалась материальная помощь. С 1949 года они были прикреплены к Центральной поликлинике Министерства здравоохранения и поликлинике Литфонда (правда, чтобы попасть к врачу, надо было записываться за неделю). В 1946 году начали работать базы отдыха для писателей в Майори (на Рижском взморье), в Переделкине, в Эртелеве (близ Воронежа), в Келломяках (под Ленинградом), в Гаграх, Сатурамо (возле Тбилиси) и Дарачичаге (Армения).

Так что, можно сказать, несмотря на творческий кризис, Евтушенко оказался достаточно практичен, чтобы обеспечить себе надежный тыл. Он учился в Литературном институте и получал пусть небольшую, но стипендию, поэтому умереть с голоду не боялся. Плюс он теперь состоял в Союзе писателей и мог в случае чего надеяться на его помощь. Поэтому он не стал выдавливать из себя через силу бойкие стишки к праздникам, а взял паузу, чтобы все обдумать и понять, чего же он сам ждет от себя и своего творчества.

Переосмыслив и заново оценив свою поэзию, Евтушенко снова начал писать стихи, более грустные и более взрослые, «о своих сомнениях в себе, о своем ожидании большой любви и о разнице между подлинным и ложным, о страданиях и о горестях людей». Но он тут же столкнулся с тем, что эти стихи, хоть они и были гораздо лучше прежних, очень трудно напечатать. Газетам нужны были бодрые оптимистичные вирши, зовущие вперед к

лучшей жизни под руководством товарища Сталина. «С обложек книг глядели бездушно улыбавшиеся рабочие и колхозники. Почти все повести и романы оканчивались счастливыми развязками. Темами полотен художников все чаще являлись правительственные банкеты, свадьбы, торжественные собрания и шествия… Сталинская теория, что люди – это винтики коммунизма, превращаясь в практику, давала страшные результаты. Труд как символ становился выше тех, кто трудится. Герои многих книг варили сталь, строили дома, сеяли пшеницу, но не думали, не любили, а если и делали это, то как-то безжизненно, неестественно. Русская поэзия, так замечательно проявившая себя в годы войны, потускнела. Если иногда и появлялись хорошие стихи, то опять же о войне, о ней писать было проще».

Время было в очередной раз темное и тяжелое – последние годы сталинской эпохи. Вновь набирали силу политические процессы против инакомыслящих, и все благоразумные люди предпочитали помалкивать и не высовываться. Рисковать, в том числе и печатая что-то выходящее за рамки привычного, никто не хотел. Да и в поэзии ситуация была непростая. Лучшие поэты того времени либо сидели, как Заболоцкий, либо были в опале и не издавались, как Ахматова и Пастернак, либо писали бездушные бодрые стихи, чтобы не повторить судьбу своих коллег. Апофеозом литературного кризиса стал целый пласт произведений, написанных специально под Сталинскую премию.

Что это означает? Проводя параллель с современностью, можно сказать, что сейчас всегда легко узнать фильмы, снятые под «Оскара», – существует определенный набор штампов, которые увеличивают шансы фильма получить эту престижную премию. А в 40–50-е годы в СССР был набор штампов, гарантирующих выдвижение литературного произведения на Сталинскую премию. А учитывая, что премия была вовсе не символической, а вполне себе материальной и составляла для первой степени – сто тысяч, для второй – пятьдесят, для третьей – двадцать пять, можно не удивляться, что некоторые писатели каждый год строчили хотя бы одно произведение, подходящее под критерии отбора в список номинантов.

Мечтали о премии и хорошие писатели, и иногда даже специально наступали на горло собственной музе и писали книгу «под премию». Потому что понимали – один раз себя переборешь, напишешь идеологически верное произведение, зато потом сможешь несколько лет жить на эту премию и творить в свое удовольствие, не думая, напечатают тебя или нет. Л. К. Чуковская (писательница, публицист, дочь Корнея Чуковского, автор

«Записок об Анне Ахматовой»), например, писала А. И. Пантелееву (автору «Республики ШКИД» и «Леньки Пантелеева»), книгу которого выдвинули на Сталинскую премию: «Ах, как хорошо было бы, если бы Вы получили лауреатство. Бог с ней, со славой, с непохожим портретом в газете; но деньги! деньги! деньги! Возможность года два писать, не думая о деньгах. Этого бы я для Вас хотела…»

Но вот наступил 1953 год. Умер Сталин. Вся страна буквально застыла, не зная, не понимая, что будет дальше. «Представить его мертвым было почти невозможно, – говорил Евтушенко, – настолько он мне казался неотъемлемой частью жизни. Было какое-то всеобщее оцепенение. Люди были приучены к тому, что Сталин думает о них о всех, и растерялись, оставшись без него. Вся Россия плакала, и я тоже. Это были искренние слезы горя и, может быть, слезы страха за будущее. На писательском митинге поэты прерывающимися от рыданий голосами читали стихи о Сталине. Голос Твардовского – большого и сильного человека – дрожал».

Евгений Евтушенко был растерян и потрясен, как и все остальные. Но его растерянность длилась недолго – всего лишь до дня похорон вождя. Он отправился туда вместе с другом и попал в самую гущу страшной давки. За эти несколько часов он увидел все – панику, тупую безынициативность, слабость и непрофессиональность тех, кто должен был обеспечивать порядок… Он пытался бороться с толпой, вытаскивать из нее детей, вместе с другими крепкими ребятами как-то регулировать движение и не давать затоптать слабых. Этот день стал для него символом того, во что превратилась страна, отучившаяся думать.

«Этот день был переломным в моей жизни, а значит, и в моей поэзии, – писал он. – Я понял, что за нас больше никто не думает, а может быть, за нас никто и не думал раньше. Я понял, что надо много думать самим, думать, думать, думать…»

Перемены начались везде – постепенно, со скрипом, но все набирая и набирая ход. Газеты тоже вдруг как прорвало – вместо шаблонных плакатных стихов их заполонила лирика, «интимная поэзия», как выразился о ней Евтушенко. Ее так долго не печатали, что поначалу она показалась глотком свежего воздуха – публика жадно читала все что угодно, лишь бы оно было не о строительстве коммунизма и товарище Сталине, а о любви, чувствах, птичках, рыбках, природе и тому подобном. Но этот прорыв очень скоро оказался «дутым» – на фоне столь важных событий, которые происходили в стране, на фоне смены эпох, птички и рыбки быстро перестали быть интересны. Пришло время оглядываться вокруг в поисках новых форм, новых стихов и,

конечно, новых поэтов. Молодых, дерзких, не успевших еще заразиться страхом и никогда не писавших «под Сталинскую премию».

Вот тогда Евгений Евтушенко и встретил ее – девушку, от рифм которой у него перехватывало дыхание. А потом перехватило и от нее самой. «В ее жилах скакала необъезженная татарская кровь, – писал он много лет спустя, вспоминая свою первую любовь, – и величаво всплескивала итальянская, как медленная вода венецианских каналов, качающая на себе золотые решетчатые окна постепенно погружающихся, словно Атлантида, аристократических палаццо.

С татарской стороны она была, безусловно, наделена ханской кровью, ибо принимала ухаживания повально в нее влюблявшихся поклонников как нечто само собой разумеющееся, словно бахчисарайская красавица в прозрачных шальварах, овеваемая почтительными опахалами. У нее были раскосые глаза сиамской кошки, снисходительно позволяющей себя гладить, но не допускающей посторонних в свои мысли, скрытые под мягкой, но непроницаемой шерстью, и голос соловья, который издавал колоратурное журчание изнутри ее.

Она выглядела не как реальная женщина, а как произведение, созданное невесомой кистью Боттичелли, хотя ее папа-татарин работал чиновником московской аэропортовской таможни, подавленно молчаливый, очевидно от созерцания бриллиантов, выковыриваемых им из чьих-то каблуков, а ее полуитальянка-мама служила переводчицей в КГБ в звании майора, что не отменяло ее беззащитной сентиментальности и панического страха перед собственным учреждением, в которое она попала, скорей всего, из-за того же самого страха, не позволившего ей отказаться».

Ахмадулина была олицетворением свободы внутри стихии языка. В лучших своих стихах – роскошной свободы. И одновременно – подъемной силы этой стихии. Поэтому и создавалось впечатление взлета, полета, когда она читала стихи – вытягиваясь вверх и вперед, чуть-чуть наклоняясь вперед, как будто перед отрывом от пола, от земли.

Поэзия была средой ее обитания. Выбором и складом слов она ставила заслон вульгарности, посредственности, неодаренности. И тому, что притворялось поэзией.

В ней жило чувство преданности, благодарности и преклонения по отношению к любимым поэтам. К старшим. Любила она лучших, называла их по имени-отчеству – Борис Леонидыч, Анна Андревна, Марина Иванна, Осип Эмильич. Тех,

про кого в ранней молодости она написала «Об это старинное древо утешу ладони свои».

Она была красивая женщина. Остроумная. Умница. Расположенная к людям и верная друзьям.

Анатолий Найман, поэт, переводчик, эссеист, прозаик, мемуарист.

Белла Ахмадулина была тогда совсем юной и полной энтузиазма, на Евтушенко, который был старше ее на четыре года и уже считался опытным поэтом, она смотрела снизу вверх. Он был частью того мира, в который она еще только хотела попасть. И он ввел ее туда – в мир литературной богемы, в котором она очень быстро не только прижилась, но и стала королевой.

К сожалению, она сама почти не рассказывала об их отношениях, их браке, да и вообще, когда читаешь ее воспоминания и интервью, складывается впечатление, что она вообще до своего последнего мужа Бориса Мессерера не была замужем. Она много вспоминала о поэзии, работе, собаках, каких-то печальных и забавных случаях из жизни, но практически никогда ничего не говорила о личной жизни. Это особенно удивительно, ведь ее мужья, наоборот, много и очень эмоционально писали о жизни с ней, о том, как любили ее, как страдали, как расставались… А она все свои эмоции выплескивала только в стихах. Так, в 1955 году она писала:

Дождь в лицо и ключицы,
и над мачтами гром.
Ты со мной приключился,
словно шторм с кораблем.

А в мемуарах об этом молчание. Тишина. Хотя, один эпизод из времен ее романа с Евтушенко они описали оба, и это очень показательно – как именно они его запомнили.

«Когда я ее впервые пригласил в Дом литераторов на встречу Нового, 1954[5] года, – писал Евтушенко, – она волновалась, готовилась, с особым трепетом одевалась – ведь ей предстояло знакомство с «живыми писателями». Она переживала, что у нее нет хороших туфель, и я купил ей первые в жизни туфли на высоких каблуках – они были китайские, из зеленой замши, с такими же замшевыми розочками.

Писатели, которые собрались, были все гораздо старше нас, но я всегда дружил с теми, кто старше. Она смотрела на них потрясенно, как на портреты, превратившиеся в людей.

Тамадой избрали кавказского прозаика, всегда

неунывающего, полного застольной энергии, похожего на неостановимо снующий сперматозоид с длинным лукавым носом. Тогда она первый раз услышала слово «тамада». Первое, что сделал новоизбранный тамада, это снял пояс со штанов и надел его поверх пиджака, якобы по какому-то, только ему известному, кавказскому обычаю.

Таким невеличавым поведением лауреата Сталинской премии она была раздавлена, как хрустальный бокал мусоровозом.

Известный фронтовой поэт, тоже лауреат и тоже Сталинской премии, бывший футболист, с носом приплюснутым, как у боксера, почему-то скомкал бумажную салфетку и начал с дворовой виртуозностью подбивать ее в воздухе внутренней стороной ботинка, выражаясь по-футбольному – «щечкой». Именно так тогдашняя дворовая шпана играла на интерес или даже на деньги – кругленьким кусочком меха со свинцовой пластинкой посередине – это называлось «пушок» или «зоска».

Другой поэт, тонкий нежный лирик, только-только вернувшийся из лагерей, где в три приема в целом провел лет четырнадцать, быстро напился и нажрался, наверно от съедавшего его, как болезнь, лагерного страха, что водка и жратва скоро кончатся, и, облизываясь длинным багровым языком муравьеда, начал незло, но активно употреблять сочные русские слова восьмого цвета, не входящие в официальную радугу, одобряемую педагогикой и цензурой. Но для восемнадцатилетней итальяно-татарки, которая религиозно дышала поэзией, как жрица благовониями храма, поэт, играющий в «зоску» или ругающийся матом, выглядел так же чудовищно, как орхидея, намазанная селедочным маслом.

Один из «живых писателей» был вдобавок одноглаз, другой горбат, а у третьего была расстегнута ширинка.

Словом, все, вместе взятые, «живые писатели» в наполненных неподдельным ужасом восемнадцатилетних глазах представляли скопище монстров. Оскорбленная в своих трепетных ожиданиях наконец-то узреть «живых писателей» как неземных существ, питающихся исключительно мороженым из сирени и паштетом из соловьиных языков, она потихоньку встала, вытащила меня умоляющим взглядом из кабинета, где мы пировали, и потребовала, чтобы мы немедленно ушли.

Я рассердился на нее, считая это высокомерным капризом. Я был по-юному жесток и, чтобы наказать, не проводил ее.

Она шла одна через всю завьюженную новогоднюю Москву, и ее китайские зеленые замшевые туфли утопали в снегу.

Справедливости ради надо сказать, что в некоторых из тех,

кто сначала показался ей монстрами, через некоторое время она, как девочка из «Аленького цветочка», увидела нежные души, спрятанные по злому колдовству времени в косматые шерсти мата и пьянства, и эти кажущиеся монстры стали ее друзьями».

Воспоминания Евтушенко о Белле Ахмадулиной – это, конечно, поэзия в прозе. Одни эпитеты чего стоят: «восемнадцатилетняя итальяно-татарка, которая религиозно дышала поэзией, как жрица благовониями храма», девочка из «Аленького цветочка», хрустальный бокал. Несмотря на всю сатиричность этого эпизода, на то, что Евтушенко смотрит в нем на себя «по-юному жестокого» с высоты прожитых лет, осуждая и сожалея, прекрасно видно, насколько он был влюблен. Белла для него была неземным созданием, юным, трепетным и беззащитным – настолько, что даже спустя три десятка лет его совесть не давала ему забыть, как он отправил ее одну в ночь холодную.

А вот как вспоминает о том же вечере Ахмадулина:

«Мне было, наверное, восемнадцать лет, я оказалась в Доме литераторов встречать Новый год среди взрослых. Все были хорошо одеты, я бедно. Мне родители что-то сшили, какое-то зеленое платье, китайские туфли на высоком каблуке. Со мной сидел Смеляков, я уже многое про него знала и его знала, но, конечно, очень была молода. Наверное, в восемнадцать лет необязательно все такие молодые, но я была. Он выпивал, я тогда, конечно, нет. Я его спросила:

– Ярослав Васильевич, а вы что же, помните всех людей, которые были причастны к вашим злоключениям?

Он сидел три раза. И он сказал:

– Да. Показать тебе здесь?

Там было множество писателей, в зале этом новогоднем Дома литераторов. Он говорит:

– Вот этот, например, и вот этот, например, и вот тот.

Так он перечислил почти всех, кто там находился. Я схватила пальтишко какое-то свое серое с песцовым воротником – мама сшила, и в китайских туфлях пешком по снегу пошла на Старую площадь, где тогда жила, так была потрясена. А дальше – живи и думай».

Общего в этих воспоминаниях – только китайские туфли, в которых Белла Ахмадулина шла по заснеженной Москве…

Белла Ахмадулина была не только выдающейся поэтессой, но и прекрасным человеком. Белла – это ключевая фигура поколения шестидесятников, самостоятельное светлое слово, великий поэт, любящий Россию, мучающийся болью за нее.

Я хорошо помню – мне 14 лет, и первый раз пришел на ее встречу в зал Чайковского. С бабушкой. И жил в каком-то тихом мещанском уюте. И вдруг на сцене увидел Беллу – с челкой, со вздернутым подбородком и почувствовал себя старым никому не нужным школьником. И понял, что надо менять жизнь – ее энергия, бесконечная сила просто вошла в меня. Она же могла всю ночь, расчистив стол, писать при свече.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, радио– и телеведущий.

Когда Белла Ахмадулина познакомилась и начала встречаться с Евгением Евтушенко, у нее был непростой период в жизни… Хотя когда у нее были простые периоды? Она из тех людей, у которых всегда все сложно. Но в то время для нее многое изменилось. Она окончила школу, работала в газете, собиралась в Литературный институт, издали ее первые стихи – обо всем этом рассказано в предыдущей главе.

Но было и то, о чем она не говорила в интервью и не писала в воспоминаниях. Брак ее родителей распался, и это стало для нее очень тяжелым ударом. Она любила отца, он был одним из самых важных людей в ее жизни, а теперь он вдруг ушел, да еще и потом завел новую семью. Впрочем, связь между ними не оборвалась – Ахат Валеевич тоже очень любил дочь, и они продолжали видеться. Его внучка Елизавета Кулиева рассказывала, что он в дальнейшем жил с новой семьей в маленькой квартире на окраине Москвы и сильно тосковал, если Белла его долго не навещала.

А Надежда Макаровна вскоре после поступления дочери в Литературный институт уехала в США, работать переводчиком при ООН. Хотя, разумеется, это все было лишь официальным прикрытием, а на самом деле она продолжала работать в КГБ.

«Когда маму жены послали на два года в Нью-Йорк, – вспоминал Евтушенко, – что-то там переводить в ООН, она заботливо оставила дочери доверенность на часть зарплаты, потому что жили мы хоть и весело, но бедно. Когда много друзей, денег всегда не хватает.

Однажды жена заболела и попросила меня получить деньги вместо нее по доверенности матери. Для этого на меня была оформлена особая доверенность на доверенность. Жена мне объяснила, что бухгалтерия КГБ находится напротив главного здания на Лубянке – в небольшом особняке и что там есть особое правило – посетители входят в одну дверь, а выходят в другую, чтобы не сталкиваться со следующими рыцарями щита и меча.

Я пошел с восторженным и холодящим колени

любопытством, предвкушающим прикосновение к государственной тайне. Дверь в государственную тайну была со двора. На двери, обитой самым обыкновенным дерматином, ничего не было написано, но за ней стоял курносенький, исполненный собственной значительности часовой. Он проверил мой студенческий билет, доверенность и пропустил, предупредив, что выход – через другую дверь, в конце коридора. Но я об этом уже знал, и на этот счет у меня был разработан особый план.

В бухгалтерии было несколько столов, за которыми сидели такие же обыкновенные женщины, как и в любых других бухгалтериях. Разница состояла только в том, что, когда толстенная бухгалтерша протянула мне толстенную расходную книгу для расписки в получении, она прикрыла все другие фамилии пластмассовым трафаретом, где был узенький вырез для моей подписи. Расписываясь, я нарочно забыл на столе мой студенческий билет и, выйдя из бухгалтерии, не пошел к выходу, а неожиданно вернулся вопреки всем инструкциям.

– Извините, я забыл свой… мой документ у вас на столе… – сказал я, прикидываясь невинной овечкой.

Бухгалтерша злобно зашипела на меня, как гусыня в чине не меньше полковника, но было уже поздно.

Я своего добился – я увидел следующего получателя.

Расписываясь в той же самой платежной ведомости, над столом склонился литературный карлик, воспевавший в своих детективных романах мужественных героев совплаща и совкинжала в духе сомнительной шпионской романтики со скрупулезным знанием дела, не оставлявшим сомнения в его собственной профессии. В твидовом клетчатом пиджаке, вишневых ботинках на каучуковой подошве, с данхиловской трубкой во рту, он сам был похож на изображаемых им американских шпионов.

Позднее, сталкиваясь со мной на разных литературных собраниях, он никогда не приближался (очевидно, из конспиративных, по его мнению, соображений), но полузаметно здоровался со мной глазами, преисполненными понимания нашей общей значительной роли в истории человечества.

Моя любимая, которой я рассказывал о сей знаменательной встрече, сталкиваясь с этим карликом где-нибудь в ресторане, начинала неудержимо хохотать. Мы были еще очень молоды, и грязь не прилипала к нашей юной коже, и мы умели весело смеяться даже над стукачами, которые при другом развитии истории вполне могли бы стать нашими убийцами.

Моя любимая жила вообще в другом измерении – там, где не было ни партии, ни КГБ, а были Пастернак, Ахматова, Цветаева и

вся красота мира, включая ее собственную».

Я понимаю и замечаю свое отличие от всех или многих. Другого устройства растение. Вероятно, я отличаюсь в плохую сторону. Но среди мною в себе одобряемых качеств – дерзость по отношению к власти. Допустим, раньше все время были какие-то доносы. Я даже не интересовалась. Меня спросили: «Вы хотите узнать?» Они же сейчас все как-то раскаялись. Я говорю: «Зачем? Узнать, что каждый третий был осведомителем?» Нет, меня это особенно не трогает. Я писала и писала. Это – обязательно. А с ними дела не имела. Но все-таки нужно было себя так настроить, чтобы их не бояться. И не утратить достоинства. Они же как-то со мной пытались соотноситься. Могли награждать. Или пугать. Или угнетать. А самым примитивным способом наказывать или развращать являлась заграница. Однако я смолоду решила, что никогда не надо думать: поедешь – не поедешь? Такого искушения для меня быть не может. А ведь на этом многие рушились. Понимаете, человеку действительно тесно. У него нечто вроде клаустрофобии начинается. Почему – нельзя? У меня этого не было. Я же беспрерывно за кого-то заступалась. И сразу: «Никуда, никогда…» Ну и ладно. Страна большая. Страна большая. В ней хватит места. И Франция без меня обойдется. И я без неё. Верно?

Да, в то время в поэтический мир Беллы Ахмадулиной еще не вторглась жестокая реальность – кампания против Пастернака и разочарование в людях, просивших разрешения на предательство, были еще впереди. Она жила любовью и поэзией, купалась во всеобщем восхищении и была, по-видимому, вполне счастлива. «По-видимому» – эту оговорку я делаю не случайно. О личной жизни Ахмадулиной приходится судить только с чужих слов, подтверждение тому – хотя бы все те же два отрывка из воспоминаний о вечере в Доме литераторов. Как уже сказано выше, она четыре раза была замужем, первый и второй мужья написали о ней целые поэмы в своих мемуарах, а она… вообще ничего не написала ни о них, ни о своих отношениях с ними.

Точно так же она молчала и о своих отношениях с родителями. Только из интервью ее дочери Елизаветы Кулиевой можно узнать кое-какие подробности – о разводе Ахата Валеевича и Надежды Макаровны, об их сложных взаимоотношениях после, о ссоре Беллы Ахмадулиной с матерью. «Бабушка получила хорошее образование, знала несколько языков и одно время работала в Нью-Йорке переводчиком – считалось, что в ООН, а на самом деле – в КГБ, – рассказывала Кулиева. – Она была убежденной коммунисткой, верила в советские идеалы, из-за чего

дочь не общалась с ней практически тридцать лет. Наверное, мама слишком сурово наказала ее за единственный порок – наивность. Но уж таким человеком была Белла Ахмадулина – дерзким и непримиримым».

Я очень люблю красивых людей. Вот когда смотришь на человека, который красив и осанкой, и лицом, и походкой, движениями, и голосом, и глазами, и манерой говорить, – это всегда впечатляет. Беллу бог наградил очень щедро, она была красива во всем. И внутренне, и внешне, и как женщина. И когда она читала стихи – это было такое завораживающее действо. И бог наградил ее щедро, потому что дал талант поэтический. Она, на мой взгляд, вся из нашей золотой классики, XIX века, она оттуда, хотя ее поэзия очень современна, хотя ее стиль, ее манера разговаривать в поэзии, ее манера пользоваться образами, метафорами абсолютно современна. И тем не менее, я все время угадываю в ней это начало, начало нашей классической, той великой поэзии от Пушкина, которая прошла через Лермонтова, Тютчева и дальше. Удивительное было сочетание.

Андрей Дементьев, поэт.

Увы, похоже, пришел момент, когда Ахмадулиной не удалось больше оставаться в своем прекрасном мире поэзии и любви и не видеть окружающую жестокую действительность. Вероятно, этому поспособствовало дело Пастернака, после которого она резко повзрослела и стала циничнее смотреть на вещи.

Но это все было позже. А пока она вышла замуж за Евгения Евтушенко и была счастлива. Они любили друг друга до безумия, как могут только совсем молодые люди, еще не битые жизнью и не испорченные вынужденным сосуществованием с давно надоевшим человеком. Первая любовь прекрасна тем, что влюбленные верят – она продлится вечно. Во втором браке у Ахмадулиной уже не будет таких светлых прекрасных чувств, хотя и там любовь будет не менее сильная. Но когда она была женой Евтушенко, она еще не знала, что у нее будут второй, третий, четвертый браки, да и, наверное, не поверила бы, если бы ей такое сказали. И он бы не поверил.

«В нее влюблялись все, – вспоминал он, – и похожий на потрескавшегося мраморного амурчика, не по возрасту оживленный композитор, присылавший ей корзины цветов, которыми мы кормили соседскую козу, содержавшуюся на седьмом этаже, и хозяин этой козы – апоплексический майор, вбивший в голову, что свежее козье молоко спасает от высокого давления, хотя это не мешало ему параллельно сотворять в нашей коммунальной кухне ядовито-желтый самогон в ведре на газовой

плите при участии сахара, марли, щепочек и сложных стеклянных конструкций, и два юных провинциальных поэта, осыпанные прыщами от нереализованных желаний, один из которых чуть не покончил самоубийством, когда она неожиданно распахнула дверь в деревянной переделкинской уборной и увидела своего воздыхателя, сидящего орлом на толчке, да еще и с «Комсомольской правдой» в руках.

От растерянности перед ее совершенно несоветской, вызывающе неколлективной красотой и возвышенной манерой говорить в стиле журналов «Аполлон» и «Золотое руно» жэковские сантехники ошеломленно роняли в унитаз свой инструмент, несмотря на то что они почти утратили половые признаки из-за погруженности в напряженные мысли: как бы получить от клиентуры на бутылку…

…Мы часто ссорились, но быстро и мирились. Мы любили и друг друга, и стихи друг друга. Одно новое стихотворение, посвященное ей, я надел на весеннюю ветку, обсыпанную чуть проклюнувшимися почками, и дерево на Цветном бульваре долго махало нам тетрадным, трепещущим на ветру листком, покрытым лиловыми, постепенно размокающими буквами.

Взявшись за руки, мы часами бродили по Москве, и я забегал вперед и заглядывал в ее бахчисарайские глаза, потому что сбоку были видны только одна щека, только один глаз, а мне не хотелось терять глазами ни кусочка любимого и потому самого прекрасного в мире лица. Прохожие на нас оглядывались, ибо мы были похожи на то, что им самим не удалось.

Мне хотелось ей подарить что-то самое красивое, что-то самое большое. Этим самым красивым, самым большим для меня было море.

> А для меня в музеях и квартирах
> оно висело в рамах под стеклом.
> Его я видел только на картинах
> и только лишь по книгам знал о нем».

Когда читаешь воспоминания Евтушенко о его браке с Ахмадулиной, бросается в глаза, как мало в них конкретных событий и как много эмоций. Особенно если сравнивать с воспоминаниями о его последующих браках. Они были женаты три года, все это время они учились, писали стихи, общались с друзьями – тогда уже начал складываться кружок будущих «шестидесятников». Жизнь у них была веселая и активная, с посиделками до утра, обильными возлияниями в компании таких же молодых и дерзких будущих поэтов, писателей, художников.

Но по мемуарам этого не понять и не определить – в них время застыло в некоем прекрасном безвременье, когда есть только любовь, и влюбленным никого и ничего больше не нужно, они сыты и пьяны одним только своим чувством.

Разве что море… Почему-то из всей совместной жизни с Ахмадулиной Евгений Евтушенко подробно описал только одно событие – их совместную поездку в Сухуми. Наверное, дело в том, что он действительно очень любил море, и особенно ярко запомнил этот эпизод, когда рядом с ним были две его любви – женщина и стихия. Чего еще может желать поэт?

В Сухуми Евтушенко приехал во второй раз, впервые он побывал там в 1952 году, когда приехал отдыхать вместе со своим школьным товарищем. Тогда он увидел море и полюбил его на всю жизнь. Даже спустя много лет он восторженно вспоминал, как они «стянули прилипшие к телу рубахи и брюки и в доколенных черных сатиновых трусах моего поколения, не знавшего плавок, ринулись внутрь прохладно кипящего изумруда, растворенного в огромной чаше с необозримыми краями».

Приезжали они, разумеется, «дикарями», Евтушенко еще не имел ни званий, ни регалий, чтобы претендовать на путевку от Союза писателей в санаторий или дом отдыха. Поэтому они с другом поступили так же, как тысячи других советских людей, – приехали в надежде, что найдут где поселиться. Надежда эта была вполне реалистичная – в курортных городах тогда, как и поныне, основным заработком местных жителей была сдача жилья туристам. Так что сложностей в этом вопросе не возникло – стоило молодым людям ступить на перрон, как их сразу окружили желающие подзаработать.

Поселились они у многодетной гречанки, мужа которой выслали в Казахстан. «У нее был некрасивый, но одновременно красивый нос с горбинкой и побитые, но одновременно гордые, обугленные глаза, – вспоминал Евтушенко. – Мы выбрали именно ту крышу, под которой была беда: война научила нас тому, что беда и позор – это разные вещи.

Меня никогда не кормили так вкусно, как под той греческой крышей, может быть, потому, что хозяйка готовила нам все, чему был бы счастлив ее муж, если бы он вдруг возник на пороге с азиатской пылью на сапогах после принудительной одиссеи. С тех пор я больше всего на свете люблю рыбу по-гречески – в томатном соусе, с тонко нарезанной морковью, и тушеные баклажаны с помидорами, луком: по-кавказски – аджапсандал, по-французски – рататуй».

Хозяйка квартиры «в черной кружевной накидке, похожей на иней из пепла» произвела на молодого поэта большое

впечатление – когда он видел, как она сидит на берегу и смотрит на море, она казалась ему некой современной Пенелопой, ждущей своего Одиссея. Неудивительно, что, влюбившись в Беллу Ахмадулину, он решил привезти ее именно туда, к морю, оставившему в его душе такие романтические ощущения.

К тому времени у него было уже достаточно много друзей и приятелей, чтобы среди них нашелся и человек с квартирой в Сухуми. Так что молодые супруги собрали чемоданы и вскоре были уже на берегу Черного моря.

«Это море когда-то качало и триремы аргонавтов под золотым руном, так много обещавших рассветных облаков человечества, и генуэзские галеры, где африканские рабы, вылепленные из черных мускулов, лиловых губ и белков слоновой кости, иссеченные витыми плетьми надсмотрщиков, наплескивали самшитовыми веслами будущий сан-луисский блюз, и турецкие фелюги с красными перцами фесок, и дубки контрабандистов, где в трюмах «коньяк, чулки, презервативы», и мятежный броненосец «Потемкин», где матросские ленточки, окунувшись в борщ с червями, превратились в гениальную киноленту, и покидающий Россию последний корабль белой армии, где Врангель в траурной черкеске так вцепился в борт, что под его ногти впились белоснежные корабельные занозы.

И мы по-дельфиньи счастливо отфыркивались, глотая море, как подступившую к горлу историю, и наши соленые губы находили друг друга даже под водой, где шаловливые стайки рыб щекотали нам ноги. О, что бы сегодня ни говорили о романтической безвкусице раннего Горького, но то, что он чувствовал когда-то на берегу моря, оказалось правдой. Да, море смеялось! Да, тысячами! Да, серебряных! Да, улыбок!»

Два поэта и море – что может быть романтичнее… К тому же, дойдя до знакомого с прошлой поездки дома, Евтушенко увидел ту гречанку, у которой жил несколько лет назад. На ней была все та же черная кружевная накидка, и она все так же сидела на камне и смотрела на море, ожидая возвращения своего Одиссея.

Правда, на этом романтика уступила место бытовой трагикомедии, о которой Евтушенко вспоминал с ностальгической иронией: «Я и моя любимая вернулись в еще незнакомую нам квартиру и, торопливо обтерев скопившуюся на мебели пыль, поскорей улеглись, как все на свете любящие друг друга, для кого нет больше счастья, чем остаться вдвоем. Но нас поджидало нечто.

Первым проснулся я, хотя за окном еще была магнолийная, вязкая от запахов ночь. По мне что-то ползало. Я панически включил свет и – о ужас! – увидел полчища прозрачных от

голодухи клопов, коричневой чумой обсыпавших стены, постель и нас. Я в отчаянье разбудил сладко спавшую любимую, стряхивая с ее рубенсовского тела этих мини-коричневорубашечников, уже сыто отяжелевших от крови наследницы Ахматовой и Цветаевой, а сам забрался на стол, подогнув босые дрожащие ноги, и заплакал.

Моя любимая, однако, проявила итальянский темперамент, соединенный с татарским упорством. Она, нимало не стесняясь, разбудила среди ночи соседа по лестничной клетке – абхазского краеведа, специалиста по путешествию аргонавтов за золотым руном, добыла у него керосин и, вооружившись тряпкой, начала войну с несчастными оголодавшими кровопийцами, в то время как я позорно продолжал восседать на столе, голый, сложив руки в позе брамина, молящегося во время наводнения.

Клопы были побеждены.

Какое это было прекрасное молодое время!

Мы ходили по Сухуми, как было тогда принято, в полосатых пижамах, в пластмассовых наносниках, в белых войлочных шляпах, пахнувших овечьим сыром, и блаженно пробовали на рынке землянично душистую «Изабеллу» цвета заката при хорошей погоде, которую нам щедро наливали из сиреневых шлангов в липкие граненые стаканчики, или вкушали пряное, чуть коричневатое рачинское в прохладном подвальчике, где животастый усач в кожаном фартуке с винными лиловыми пятнами клал прямо с ножа на верхнее днище бочки упругие ноздреватые ломти еще влажного сулугуни. А потом мы возвращались в нашу уже обесклопленную квартиру и любили друг друга, ласкаясь, как волна с волной, прижимаясь телами, пахнущими прибоем, а разленившись от любви, опускали с третьего этажа на длинной бельевой веревке авоську с пустыми бутылками, в горлышко одной из которых была воткнута пятерка, и минуту спустя авоська, отяжеленная ледяным боржоми и ныне исчезнувшим бархатисто-красным вином «Александреули», поднималась к нам из косматых рук продавца уличного киоска, которого звали Гоги и чья мечта была купить «мерседес» и на нем съездить на гипотетическую прародину грузин – в Басконию. И мы передавали вино друг другу губами и вплывали в глаза друг другу и уже не выплывали оттуда. О боже, как мы любили, даже не представляя, что возможно не любить».

Расскажу историю из шестидесятого года, когда первая большая писательская группа – с обязательным стукачом – отправилась в Штаты. Еще по московскому визиту Никсона – он привез Хрущеву послание от Эйзенхауэра и устраивал шумную

презентацию пепси-колы, которой московская молодежь опивалась до рези в желудке – я был хорошо знаком с легендарным американским фотографом Эдвардом Стейхеном.

Он очень хотел увидеть быт московской семьи, а все боялись пригласить его к себе. Мы с Беллой не побоялись. Мы жили тогда в коммуналке за Войковской, в десятиметровой комнате, где почти ничего не было, кроме тахты. Эту тахту мы и предложили Стейхену. Он сказал, что прошел войну, снимал на Эльбе – и потому уляжется на полу. Когда мы утром проснулись, пионера американской фотографии в комнате не было. Мы страшно перепугались: ушел, ни слова по-русски не знает… Обнаружился он в кухне, где сосед варил самогон, помешивая щепкой, и угощал его, к обоюдному удовольствию.

Отношения у нас сложились совершенно братские, хотя мне не было тридцати, а он подбирался к нынешнему моему возрасту, – и когда наша группа оказалась в Штатах, он устроил в нашу честь грандиозный прием. Мы поехали к нему – и тут нас задерживает типичный американский шериф: оказывается, ни американские группы в России, ни советские группы в Америке не могли более чем на тридцать пять миль отклоняться от места постоянного проживания без согласования с госдепом. А в воскресенье кому дозвонишься? И тут шериф говорит: ребята, мне и самому стыдно вас задерживать. Мы придумаем компромисс. Я вам сюда, на тридцать пятую милю, привезу Стейхена. И пионер американской фотографии на автобусе – с раскладными стульями, гостями и закусками – выезжает к нам в чисто поле, на тридцать пятую милю, где мы и пируем.

Евгений Евтушенко.

И конечно, они оба были безумно талантливы, поэтому их недолгая, но сильная любовь выплеснулась в стихах. Так однажды во время ссоры с Беллой у Евтушенко родились строчки: «Со мною вот что происходит – ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете разнообразные не те…». Он в то время легкомысленно относился к своим стихам, мог написать и забыть. Говорят, что и про это стихотворение он тоже забыл, а потом был несказанно удивлен, когда услышал песню на свои стихи в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Белла Ахмадулина посвятила мужу поэму «Сказка о дожде», но вообще почти все ее стихи, написанные в годы их романа и брака, так или иначе пронизаны ее чувствами к Евгению Евтушенко. Вся ее жизнь, все ее эмоции всегда выражались в ее стихах.

С Евтушенко они прожили недолго и бурно, и самым ценным результатом этого брака был, пожалуй, евтушенковский «Вальс на палубе» – «И каждый вальс твой, Белла!» Впрочем, посвятил он ей – негласно – и другое, очень злое, почти гениальное стихотворение: в нем след застарелой обиды – она с высоты своего полудиссидентства весьма скептически относилась к его «советским» стихам, хотя попадались среди них исключительно талантливые.

Обиду его понять можно. «А собственно, кто ты такая, с какою такою судьбой, что падаешь, водку лакая, и все же гордишься собой? А собственно, кто ты такая, сомнительной славы раба, по трусости рты затыкая последним, кто верит в тебя? А собственно, кто ты такая? и собственно, кто я такой, что вою, тебя попрекая, к тебе прикандален тоской?» Впрочем, это не столько ей, сколько многим – подражали ей и в жизни, и в поведении сонмы молодых поэтесс, но ни у кого не выходило. Гибель всерьез, как и завещано Пастернаком, – это тоже надо уметь.

Дмитрий Быков, писатель.

Ахмадулина и Евтушенко были прекрасной парой – молодые, талантливые, яркие. Даже слишком яркие – две такие индивидуальности, к сожалению, не могли долго существовать вместе. Не зря в мировой истории союзы двух выдающихся поэтов – крайне редкое явление. И почти всегда они распадаются. Распался брак Ахматовой и Гумилева, расстались и Ахмадулина с Евтушенко. Ахмадулина, возможно рассердилась бы за эту очередную параллель с Ахматовой, но здесь просто невозможно удержаться. И невозможно не сказать еще и о том, что брак Ахматовой и Гумилева был, наверное, счастливее, ведь в нем родился ребенок.

У Ахмадулиной и Евтушенко он тоже мог бы быть. Должен был быть. Но они были слишком молоды и совершили ту же роковую ошибку, которую совершало множество юных пар до них и после. Только с них спрос больше, ведь они не просто люди – они поэты.

«Когда у нее мог быть ребенок от меня, я не захотел этого, – горько и с безжалостной прямотой писал Евтушенко, – потому что сам недалеко ушел от ребенка и тогда еще не понимал, что, если мужчина заставляет любящую женщину убивать их общее дитя в ее чреве, он начинает убивать ее любовь к себе.

Я боялся того, что живой – пищащий, писающий – ребенок отнимет у меня так называемую свободу, которой я тогда по-дурацки дорожил. Но убитый по моему настоянию ребенок отнял

у меня большее – любовь его матери.

Бог наказал меня потерей любви за то, что в мою душу вселилась почему-то считавшаяся свободой рабская зависимость от тела, делающая нас любопытствующими ничтожествами, туристами секса. Любовь не прощает любопытства, если оно ставит себя выше любви».

Ахмадулина сделала аборт и получила от врачей «черную метку» – бесплодие. Ее и без того уже пошатнувшийся прекрасный замок любви и поэзии рассыпался как карточный домик. Она не простила мужу того, что он сделал с ее телом, ее душой и ее мечтами. Не простил себе и он: «Я долго мучился, думая, что из-за моей юной глупой жестокости она потеряла возможность иметь детей – так мне и ей сказали врачи. Но через несколько лет, узнав, что она все-таки родила дочь, я возблагодарил Бога за то, что он пожалел меня и освободил от лежавшего на мне проклятия.

Но до сих пор, когда я вижу ее вблизи или издали или просто слышу ее голос, мне хочется плакать…»

К редким, весьма редким счастливым союзам мужчины и женщины относится вот что: когда подлинно умеют жалеть. Я не про себя сейчас говорю. Но так было бы правильно для союза мужчины и женщины. Которые всегда трудны. Сюда входит всё. И соперничество, и ревность, и капризы того или другого. Однако мужчина должен быть старше. Даже если он моложе. И жалеть женщину как будто она еще и дитя его.

Поэт есть поэт. Евтушенко всегда умел препарировать собственные мысли и чувства, поэтому и историю гибели их любви и их брака расписал четко по этапам. Но надо отдать ему должное – винил он только себя.

Первый этап: «Когда я первый раз пришел домой поздно ночью, моя любимая не спала и ждала меня, читая в кресле своего обожаемого Марселя Пруста, одетая так красиво, как будто мы куда-то собирались в гости.

На столе в нашей крошечной комнатушке стояли две тарелки, накрытые другими тарелками, – наш ужин. Она радостно захлопнула книгу, бросилась ко мне и не сказала ни слова – только ласково потерлась о мое плечо, укоряюще глядя на меня еще любящими и еще прощающими глазами».

Это было еще время любви, когда влюбленные готовы прощать друг другу недостатки, и когда мужа ждут как любовника – с трепетом и при полном параде.

Второй этап: «Когда я второй раз пришел поздно, она тоже

читала что-то очень интеллектуальное, но уже лежала в халате под одеялом, ощетинившись накрученными бигудями под тюрбаном из полотенца. На столе стояла только одна оставленная тарелка».

На этом этапе одинокая тарелка даже красноречивее халата и бигудей. Любовная лодка еще не разбилась о быт, но романтика уже ушла. Женщина в нарядном платье и с романтическим ужином на столе поджидает любовника, планирует продолжить вечер вдвоем. А если она накрутила бигуди, но оставила мужу ужин, значит, продолжение вечера ей уже не нужно, но она проявляет любовь и заботу как преданная жена.

Третий этап: «Когда я в третий раз пришел поздно, она уже спала и никакой тарелки на столе не было».

Собственно на этом моменте брак можно было считать развалившимся. И если бы за их плечами не было прежней пылкой любви, которую они еще не успели забыть, Евтушенко с Ахмадулиной расстались бы уже тогда. Но они были людьми слишком сильных чувств, брака уже фактически не было, а эти чувства еще продолжали тлеть, время от времени вспыхивая словно угли под слоем пепла.

Четвертый этап: «Когда я в четвертый раз возвратился поздно, наши разные такси подъехали к подъезду одновременно, и она, рассчитываясь с шофером, даже попросила, чтобы я разменял ей десятку».

Казалось бы, на этом все. У Беллы Ахмадулиной появились новые друзья и отдельная жизнь, она больше не ждала мужа дома, не спрашивала, где он был, и не давала отчета о своем времяпрепровождении. Теперь они были уже не супругами, а просто двумя людьми, почему-то еще живущими вместе. Возможно, из-за этих тлеющих под пеплом углей чувств, которые все никак не желали окончательно гаснуть.

Но был и пятый этап: «И наконец, когда я в пятый раз возвратился поздно, ее совсем не было и она появилась лишь под утро, пахнущая вином и чужими сигаретами, потому что тогда она еще не курила.

А потом, пытаясь все спасти, пряча от меня глаза, она попросилась со мной в Сибирь, но я не понял, насколько все далеко зашло, решил, что она будет мне в тягость, и опять отдал предпочтение свободе, а не любви, думая, что любовь подождет, никуда не денется. А любовь – делась, да вот куда – не знаю».

Марина Цветаева, наследницей которой называла себя Ахмадулина, тем самым вызывая ревность и негодование многих своих современниц, писала:

Не суждено, чтобы сильный с сильным
Соединились бы в мире сем.

И правда, не суждено. По крайней мере в отношении поэтов.

А потом… потом «сиамская кошка», «полненькая, но непередаваемо грациозная, не ходившая, а буквально летавшая, едва касаясь земли, с дивно просвечивающими сквозь атласную кожу пульсирующими жилочками» пропала. И вернулась как положено пропавшей кошке – тощей, облезлой, помятой, пахнущей котами и помойкой. Девочка-эльф сгорела, сожженная жестокостью возлюбленного и погубленным ребенком.

«Если женщина перестает любить, у нее появляются новые привычки. Эти новые привычки – первый признак того, что у женщины кто-то есть.

Она никогда раньше не курила, не пила ни крепких напитков, ни кофе. Единственное, что она обожала, – это пиво и пирожные. Я неблагородно боролся с этими безобидными грехами, требуя от нее похудения. Она прятала пакеты с пирожными в свои «хоронушки» – на кухонный шкаф или на книжный стеллаж – за томики Марселя Пруста в издании «Academia», при чтении которого я всегда испытывал комплекс интеллектуальной неполноценности, ибо меня непоправимо клонило ко сну.

Но когда через пару месяцев я вернулся из Сибири, меня встретила уже совершенно другая, незнакомая мне женщина. Она не похудела – она высохла, как будто выгорела изнутри. Школьная коса сменилась медно-проволочной короткой прической. Она была в туфлях на высоченных каблуках, на которых раньше не умела ходить. На столе стояли коньяк, кофе, которого ни я, ни она никогда не пили, в наманикюренных серебряной крошкой пальцах дымилась длинная сигарета, и у нее появилась совершенно новая манера – смотреть мимо собеседника и говорить, не ожидая и не слушая ответа…»

Но поэты как фениксы – в этом их отличие от простых смертных. Сгорая, они возрождаются… пока хватает сил. Хотя и у них есть свой предел прочности, но, слава богу, мало кто имел несчастье дойти до него, как Цветаева. Вспомнить хотя бы, сколько раз сгорала и возрождалась Ахматова, с которой, как бы Ахмадулина ни возражала, они были больше схожи, чем с Цветаевой. Не как поэты, возможно, но как женщины. И не только тем, что обе имели татарские корни и обе были замужем за знаменитыми поэтами. Сходство скорее в том, как они умели жить – жить, несмотря ни на что, выплескивать боль и страсть в стихах, но твердо стоять на ногах. Мир всегда крутился вокруг

них, и как бы они ни страдали, через какие бы испытания ни проходили, они всегда находили выход из любой ситуации, а главное – обладали счастливым умением привлекать к себе тех, кто хотел и мог о них позаботиться.

Дмитрий Быков, описывая Ахмадулину, говорил: «Тут и пассивность в добывании благ, и полное неумение чего-либо целенаправленно добиваться – ведь она знает, что сами принесут всё, что надо, и сложат к ее ногам. Правда, особенного шарма и достоинства придает ей то, что если не придут и не сложат – она проживет». Так же жила и Ахматова – не суетилась, не просила, не искала чего-либо, а плыла по течению, позволяя тем, кто этого желал, заботиться о ней и поклоняться ей. И так же философски воспринимала земные блага – если были, пользовалась ими, не стесняясь, а если не были – обходилась без них.

Хрупкая красота ее лица, по типу близкого к лицу Раисы Горбачевой (восточная кровь), контрастировала с вызывающей изысканностью костюма. Пиджак с накладными плечиками на тонкой фигурке, обтянутой белым трико с крупными вертикальными полосами вдоль ног, обутых в белые фигурные сапожки, – эдакий арлекин с трагическими бровками «домиком». С учетом крымской жары к ее костюму было приковано всеобщее внимание. Женщины шушукались: «Кто такая? Кто такая?»

Прощаясь у корпуса Дома творчества, Белла подарила розу Татьяне…

Вот она стоит в вазе, подрагивая полупрозрачными лепестками на одинокой ветке с одиноким шипом. Тут, следуя традиции, мне осталось уподобить Беллу Ахатовну Ахмадулину алой розе русской поэзии, – но нет. Роза серьезна в самосознании своей хрупкой и колючей красоты. Ахмадулина вся в игре чувствований; ее мысли не мыслятся, но переживаются, как истинное событие.

Геннадий Шалюгин, писатель.

«Мы не поссорились. Наша любовь не умерла – она перестала быть. Мы разошлись, и я переселился в комнатушку над Елисеевским магазином – настолько крошечную, что входящим женщинам нельзя было избежать тахты, и через пару месяцев я чуть не рехнулся от карусели, которую сам себе устроил. Теперь уже я сделал отчаянную попытку спасти нашу любовь – поехал к ней ночью без предупреждения, нажал на дверной звонок серебряной пробкой шампанского. В другой руке я держал за зеленый хвостик морковку хрущевской оттепели – кубинский ананас.

– Кто там? – раздался за дверью самый красивый в мире голос.

– Это я, – еле вытолкнули мои губы. – Я тебе ананас привез.

Ответом было молчание. Наконец раздалось неуверенно фальшивое:

– Ты пьян. Я тебе не открою…

Все было кончено. Я опоздал».

Вот так и закончился у Беллы Ахмадулиной возраст любви, а вместе с ним и юность. Она сгорела и возродилась заново, но что-то в ней умерло навсегда. Возможно, детская восторженность, а может быть, та хрустальная чистота, звонкая и ясная, которая так отличала ее в ранние годы. За Евтушенко выходила светлая и наивная девушка, живущая в своем сказочном мире. Расставалась с ним – женщина, усталая и с вековой печалью все познавшей Евы в глазах.

По улице моей который год
звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоем лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,

и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и – мудрая – я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.

И вот тогда – из слез, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.

Шестидесятые

Я не обидчива. Это действительно так. Люди, которых я считала и считаю своими друзьями, никогда меня не обижали, а, наоборот всегда помогали, и любовь всегда мне помогала, как бы ни развивались события. Мы всегда связаны, я всегда ощущаю связь вне зависимости от расстояния.

Брак Беллы Ахмадулиной и Евгения Евтушенко остался позади, но разрыв не означал, что они расстались врагами. Нет, они остались друзьями, и Евтушенко даже с удовольствием рассказывал, что когда он в четвертый раз женился, «Белла пришла в гости за несколько часов до торжества и в скромном фартучке помогала готовить стол». Она к тому времени тоже была четвертый раз замужем. Кстати, они оба остановились на этой цифре – у обоих четвертый брак стал самым продолжительным и последним.

Все их мужья и жены были знакомы между собой, дружили, сотрудничали. Хотя удивляться тут нечему, говоря словами вождя пролетариата «узок был их круг» – в советской богеме все друг друга знали, и большинство браков заключалось там же, внутри этого круга. Такое тесное общение накладывало определенные ограничения – надо было уметь расставаться, ведь общаться потом все равно придется, не покидать же из-за неудавшегося брака привычный круг. Ахмадулина расставаться умела. Как уже было сказано, она никогда не говорила и не писала ничего плохого о бывших мужьях и любовниках, а уж тем более об их женах и подругах.

Когда они расстались с Евтушенко, ей было всего двадцать три года, и впереди ее ждало еще много бурных страстей и мимолетных романов. Даже слишком мимолетных – Дмитрий Быков метко сказал, что «она дарила себя с легкостью, не заботясь о последствиях, почти равнодушно». Молва приписывала ей связи едва ли не со всеми «шестидесятниками», она же в свою очередь говорила обо всех только как о друзьях, и практически невозможно определить, что с кем из них ее связывало – с кем дружба, с кем любовь, с кем секс, а с кем все это вместе или в различных сочетаниях. Да и нужно ли это? Сама Ахмадулина считала, что нет, для нее самым важным чувством была дружба, и на это чувство не влияли такие мелочи, как мимолетный роман или даже неудавшийся брак.

Дружество в особом смысле слова указано, завещано нам

Пушкиным. И отчасти это подражание его умению так чудно любить тех, кого он любил. Хорошо любить так, как Пушкин любил Дельвига, и быть так любимым, как Дельвиг Пушкиным. Я по мере жизни не утратила ощущение моей кровной соотнесенности с теми, кого я могу называть своими друзьями, своими товарищами. Но это совершенно не значит, что мы каждую минуту видимся, в обнимку сидим на завалинке или, там, на диване. Моя дружеская любовь к Булату Шалвовичу Окуджаве так же свежа, как много-много лет назад, мы соседствовали в дачной местности, но я не могла прийти, не предупредив, не спросив его… Моя верность в дружбе была испытана в некоторых суровых обстоятельствах. И здесь я могу с любовью упомянуть Владимира Войновича в те времена, которые приходились ему весьма тяжелыми, весьма опасными. Я почти с ним не расставалась. Я боялась за него, и во мне вдруг возникла какая-то молодая бодрость: то есть вот если бы я знала, что ему что-то угрожает, мне было бы лучше, чтобы я разделила с ним эту опасность.

О ком же из многочисленных друзей, приятелей и предполагаемых возлюбленных Беллы Ахмадулиной (до того как она вышла замуж за Бориса Мессерера и остепенилась) можно смело говорить, что вот их она действительно любила? Той, самой важной для нее, любовью-дружбой. Дмитрий Быков писал: «Задевали ее немногие – Нагибин, скажем, с которым она расставалась и не могла расстаться семь лет; случившийся во время съемок фильма «Живет такой парень» мимолетный роман с Шукшиным (он позвал ее на крошечную роль журналистки) никакого следа в ее жизни не оставил, и таких случайных связей было множество, и Василий Аксенов в «Таинственной страсти» этого не скрывал, хотя сам обожал Ахмадулину с почтительной дистанции, не желая омрачать страстями высокую литературную дружбу.

А вот роман с Вознесенским, видимо, был, о чем он и написал с горечью: «Мы нарушили Божий завет – яблок съели. У поэта напарника нет – все дуэты кончались дуэлью». Это могло быть адресовано кому угодно, но посвящение у стихов было: шестидесятники вообще жили на виду, это спасло их от многих возможных ошибок. Люди смотрят, надо соответствовать».

Слухи о Вознесенском и Ахмадулиной действительно ходили, вплоть до того, что еще до развода у них с Евтушенко было что-то вроде «брака втроем», и что в конце концов Ахмадулина разорвала эти странные отношения и выбрала Вознесенского. Никто из них этого, впрочем, не подтверждал, да и их общие

друзья не комментировали такие слухи.

Тем более, если у них и был роман, он продлился так недолго, что может смело быть занесен в разряд мимолетных. А вот дружба осталась надолго. «Вознесенский и Ахмадулина в те годы будто нарочно дразнили любопытных, слишком часто и всюду появляясь вместе, – пишет Игорь Вирабов в книге «Андрей Вознесенский». – Рядом были и другие – но какие-то сердечные ниточки все же связывали эту поэтическую парочку, что не заметить было трудно».

Зоя Богуславская, жена Вознесенского, в свою очередь говорила: «Конечно, с Беллой у Андрея были отношения особые. Эти отношения можно назвать такой сильной дружеской влюбленностью, продолжавшейся до самых последних дней. Когда-то, узнав, что Андрюша женился (хотя мы еще не были официально женаты), она приехала в Переделкино в Дом творчества, где мы обитали (пока своей квартиры не было), и повесила мне на шею свой опаловый крестик. Это был такой жест, она сняла, встала на колени и сказала: «Он тебя выбрал»… На каждый ее день рождения Андрей ехал с самого утра к Белле с цветами… Ну, только в последние годы стало сложнее, это было связано и с его, и с ее болезнями, проблемами… Они же и похоронены всего в нескольких десятках метров друг от друга…»

«Нежное отношение к Белле Ахмадулиной сохранилось у Вознесенского с самого знакомства до последних дней жизни – и в этом была у них взаимность всегда, – пишет Вирабов. – В пятидесятых Белла была женой Евтушенко, жизнь семейная у них складывалась бурно, супруги обменивались трогательными, нежнейшими и печальнейшими лирическими посланиями. Расходились и сходились, а однажды разошлись и не сошлись. Они были «на виду», с удовольствием вплетали подробности своей жизни в стихотворные мотивы, так что их семейные драмы не были для окружающих тайной…

Нет никаких оснований полагать, что одно из лучших стихотворений Вознесенского тех лет, написанное в 1958 году, имело непосредственное отношение к печальной истории, о которой потом многократно сокрушался Евтушенко… Что за история? По словам Евгения Александровича, из-за своего эгоизма он заставил Беллу сделать аборт. «И как будто оно опустело, погруженное в забытье, это детское тонкое тело, это хрупкое тело твое» – это Евтушенко. «А ты проходишь по перрону, закрыв лицо воротником, и тлеющую папиросу в снегу кончаешь каблуком» – это ответ непростившей Беллы.

Совпало или нет, – да сколько женщин могло примерить на себя эти строки! – Вознесенский пишет проникновенное: «Сидишь

беременная, бледная. Как ты переменилась, бедная. Сидишь, одергиваешь платьице, и плачется тебе, и плачется…»

Тогда же, впрочем, написано и стихотворение, у которого есть прямое посвящение Б. А.: «Дали девочке искру. Не ириску, а искру… ‹…› В папироске сгорает искорка. И девчонка смеется искоса».

И прямо по свежим следам вдруг те же образы – ириска, девочка – промелькнут в рассказике Евтушенко «Куриный бог» (девочка подарит на счастье пляжнику камушек с дырочкой, а когда он помчится к далекой возлюбленной, дежурный по аэропорту вручит ему на удачу ириску). Странно было бы делать вид, что и это совпадение – случайность. Зигзаги вспыхивающих искр и искорок рассекали дружеский треугольник поэтов – Беллы, Жени и Андрея».

Однокурсница Ахмадулиной по Литературному институту, детский поэт Галина Лебедева, вспоминая те времена, писала о своих тогдашних ощущениях: «Кто у нас не боялся сказать то, что думаешь, и так, как хочешь? Никто. Почти никто. Белла не боялась. Женя не боялся и не боялся Вознесенский. Остальные топтались, чуть-чуть запаздывая».

В 1964-м Вознесенский написал знаменитые строки, посвященные Белле Ахмадулиной. «Нас много. Нас может быть четверо. Несемся в машине как черти. Оранжеволоса шоферша. И куртка по локоть – для форса. Ах, Белка, лихач катастрофный, нездешняя ангел на вид, хорош твой фарфоровый профиль, как белая лампа горит!» Сколько ни посвятят Ахмадулиной строк, а портрет, написанный Вознесенским, останется самым ярким.

Вирабов, анализируя отношения Вознесенского и Ахмадулиной, пишет: «В самых разных воспоминаниях как раз в этот период удивительно часто соседствуют именно эти два имени: Андрей и Белла. Вспоминает ли Татьяна Бек, как школьницей после вечера поэзии, замирая, ехала в одном троллейбусе с прекрасной парочкой только что выступавших поэтов. Или Тамара Жирмунская – про то, как страстно Белла «крутила баранку автомобиля, любила рискованную езду, ничего не боялась» – и тут же, следом, непременное напоминание: «Недаром Вознесенский написал: «Ах, Белка, лихач катастрофный!»».

И те, кто их демонстративно не любил, – все равно упоминали вместе: Андрей и Белла. У Лидии Чуковской в письме Давиду Самойлову (июнь 1978-го) и вовсе из имени одного – вытекает имя другой: «Кстати о Вознесенском: мне рассказывали, что Ахмадулина (та же порода) выступала в Америке на своем вечере в золотых (парчовых?) штанах. Подумайте, какой срам:

первая (хронологически) женщина-поэт после Ахм<атовой>, попадающая на Запад, и – в золотых штанах!»

Уже в новом веке, на склоне своих лет, Вознесенский скажет про Ахмадулину к какому-то ее юбилею: «Посмотрите, Белла все хорошеет и хорошеет, становится такой же воздушной, как ее небесная лирика…»

Ахмадулина в другой раз скажет про Вознесенского: «Мы всегда были очень дружны. Я писала стихи, ему посвященные… И я рада, что к этим стихам может быть эпиграф из… великого поэта – Пастернака: «Я не рожден, чтобы три раза смотреть по-разному в глаза»».

В начале 2010 года Андрей Андреевич, иссушенный болезнью, поделится с ней дурным предчувствием. Белла Ахатовна взяла его за руку и сказала твердо: «Андрюша, я переживу тебя ненадолго, ведь мы с тобой не разлей вода». 1 июня того же года Андрей Вознесенский уйдет из жизни.

«Мне безмерно горько, – скажет Ахмадулина. – Вряд ли вы сможете представить себе мое нынешнее состояние». Белла Ахмадулина скончается меньше чем через полгода – 29 ноября».

Ну и конечно, говоря об отношениях двух поэтов, нельзя не сказать о стихах, которые они друг другу посвящали. Между Беллой Ахмадулиной и Андреем Вознесенским существовала словно бы переписка в стихах – он писал, она отзывалась, и что там можно прочитать между строк – каждый может догадываться сам.

Вознесенский – Ахмадулиной:

Мы родились – не выживать,
а спидометры выжимать!..
Алый, конченый, жарь! Жарь!
Только гонщицу очень жаль…

(1962. «Итальянский гараж».)

Ахмадулина – Вознесенскому:

И я его корю: зачем ты лих?
Зачем ты воздух детским лбом таранишь?
Всё это так. Но все ж он мой товарищ.
А я люблю товарищей моих.
Люблю смотреть, как, прыгнув из дверей,
выходит мальчик с резвостью жонглера.
По правилам московского жаргона
люблю ему сказать: «Привет, Андрей!..»

(1963. «Мои товарищи».)

Вознесенский – Ахмадулиной:

Не порть себе, Белочка, печень.
Сержант нас, конечно, мудрей,
но нет твоей скорости певчей
в коробке его скоростей.

(1964. «Нас много. Нас может быть четверо…».)

Ахмадулина – Вознесенскому:

Так положено мне по уму.
Так исполнено будет судьбою.
Только вот что. Когда я умру,
страшно думать, что будет с тобою».

(1972. «Андрею Вознесенскому».)

Вознесенский – Ахмадулиной:

«Мы нарушили кодекс людской –
быть взаимной мишенью.
Наш союз осужден мелюзгой
хуже кровосмешенья. ‹…›

(1972. «Мы нарушили Божий завет».)

Ахмадулина – Вознесенскому:

«Я – баловень чей-то, и не остается оружья
ума, когда в дар принимаю
твой дар драгоценный.
Входи, моя радость.
Ну, что же ты медлишь, Андрюша,
в прихожей,
как будто в последних потемках за сценой? ‹…›

(1975. «За что мне все это?..».)

Ваксону вообще-то претила манера Роберта и его друга Юстаса выделять в какую-то свою особую касту так называемых «хороших, классных ребят». Нюансов в таких случаях не требовалось. Хороший парень, полезай в наш мешок хороших ребят! Поэта вообще-то трудно туда запихать, вечно будет выпирать из мешковины. Блок не был хорошим парнем. Лермонтова ненавидели хорошие ребята того времени. «Хорошим ребятам» впору в ЦК ВЛКСМ сидеть, а вот Кукуша, весьма замкнутого псевдоскромнягу, туда не засунешь. Да и Тушинскому, между прочим, такая наклейка вряд ли годится, нет-нет, Ян вовсе не из разряда классных ребят… Он хотел было выложить Роберту эти соображения, но тот его опередил:

– Вакса, ты помнишь недавние строчки Нэлки?

Когда моих товарищей корят,
Я понимаю строк закономерность,
Но нежности моей закаменелость

(чувствуешь новую рифму, старик?)

Мешает слушать мне, как их корят.

Мне кажется, что только эта «закаменелая нежность» и может сплотить наше поколение. Согласен?

Ваксон несколько минут молчал, глядя в чернильный мрак моря, где не было видно ни единого огонька, если не считать толстенного прожекторного луча, который время от времени поднимался из-за мыса Хамелеон, озаряя его костяной допотопный хребет, чтобы потом очертить южный свод неба, а вслед за этим возле твердынь Карадага лечь на поверхность вод и прогуляться в обратном направлении туда, где он (луч) был рожден, то есть на погранзаставу. Наконец он встряхнулся (не луч, а Ваксон) и заговорил:

– Я недавно слышал, как Нэлка читала в зале Чайковского. Это было нечто, знаешь! Она витала в своем волшебстве! Ты знаешь, я как-то странно воспринимаю стихи в декламации авторов. Слышу только музыку, тащусь вслед за ритмом и рифмой и очень редко улавливаю смысл. Особенно это относится к стихам Нэлки. Так и тогда было: все повскакали, орали восторги, и я вместе со всеми орал восторг. И вдруг меня обожгло, я понял, что она прочла в одном стихе не совсем ту версию, что была напечатана в «Юности». Вот как звучала последняя строфа:

Ну, вот и все, да не разбудит власть
Вас, беззащитных, среди мрачной ночи;
К предательству таинственная страсть,
Друзья мои, туманит ваши очи.

Мне иногда кажется, что призрак предательства за ней, а стало быть, и за всеми, волочится еще со времен Бориса… < >

…Возле 19-го корпуса, в котором жил Ваксон, Роберт приостановился.

– Что касается Нэлкиных стихов, Вакса, ты же ее знаешь: сегодня она читает один вариант, завтра другой. На самом деле никаких предательств не было и не предвидится. Вокруг нас вполне достойные ребята, да что там, просто классные талантливые парни, включая девочек. Прежние времена не вернутся, поверь мне.

Из романа Василия Аксенова «Таинственная страсть». Под именем Нэллы зашифрована Белла Ахмадулина.

Тут, пожалуй, надо вернуться немного назад и поговорить о том, что же было с Беллой Ахмадулиной после исключения ее из Литературного института. Ситуации была сложная, потому что она теперь не училась и не работала, а следовательно, считалась тунеядцем, что в Советском Союзе было строго наказуемо. То, что она писала стихи – не считалось работой, потому что она не была членом Союза писателей.

Неожиданно ей позвонил главный редактор «Литературной газеты» Сергей Сергеевич Смирнов и предложил помощь. «Я отказывалась сначала, – вспоминала она, – а Сергей Сергеевич очень настойчиво мне звонил и предлагал увидеться». Почему она отказывалась от предложения такого значительного человека, предлагающего помощь ей, обычной студентке, да еще и опальной, Ахмадулина не объясняла, но можно и так догадаться. Смирнов был активным участником травли Пастернака.

Однако делал он это, по всей видимости, не от души, а по должности, почему и проявил такое внимание к девушке, сделавшей то, на что у него самого духу не хватило. И, похоже, Ахмадулина это поняла – она все же согласилась встретиться, и там, в кабинете Смирнова, у них произошел любопытный разговор о том, как завистливые люди стараются затравить людей талантливых и вообще о противостоянии людей одаренных и бездарностей. Для нее это всегда был очень важный и болезненный вопрос, так, например, она говорила: «Я уверена, что обязательная черта талантливого человека – это немедленно чувствовать и любить талант другого человека. Я уверена, что все

злопыхатели бездарны. У Венички Ерофеева, автора книги «Москва – Петушки» было очень своеобразное мерило таланта. Он был необыкновенно ироничный человек, и писательский талант оценивал своеобразно. Он говорил, «этому я налил бы рюмку, а вот тому – полстакана, а уж вот тому – целый стакан». Ко мне он был очень благосклонен и говорил: «Уж кому-кому, а Ахатовне я стакан бы налил».

Потом Смирнов ей сказал: «Понимаете, вы, несомненно, такой человек, который нуждается в защите. Из института вы исключены, вы, наверное, пишете, но никто же вас не печатает и не будет печатать. Вот, может быть, вы знаете, у нас есть «Литературная газета в Сибири», там можно работать внештатным корреспондентом. Если бы вы поехали, вам бы это много дало. И, кроме того, это будет для вас выход».

Видимо, они со Смирновым друг друга поняли, и Ахмадулина решила, что принять его помощь совесть ей вполне позволяет. Так что через несколько дней она вместе с другими журналистами-практикантами вылетела в Иркутск, откуда группа журналистов «Литературной газеты» отправлялась в длинную поездку по Сибири.

«Моя группа была хорошая, – рассказывала она, – но ко мне с предубеждением относились. У них наслышка была обо мне какая-то непонятная: из института исключена, наверное, какая-то такая капризная, фифа… Возглавлял эту группу какой-то бывший партизан-писатель, какие-то там были женщины, какой-то был завхоз при этом, и вот он все мне стал выдавать: какой-то комбинезон, каску».

Предубеждение группы против «московской фифы» продержалось недолго – Ахмадулина стойко переносила тяготы полевой жизни и выдержала всю поездку от начала до конца, тогда как многие другие сломались на середине и попросту сбежали.

«Меня многое поразило. Кузбасс, Новокузнецк, бывший Сталинск, – все это я видела, – вспоминала Ахмадулина свои впечатления от поездки. – У меня стихи такие были – воспевание сталевара, красота, тяжелейший труд. Но наивность, молодость моя, они меня как-то оберегали.

В каком-то городе я видела оранжевый дым, он мне казался очень красивым, а это было, видимо, азотное производство, «лисий хвост». Вот им я любовалась.

Я видела, эти люди, эти несчастные люди собираются вокруг вагона «Литературной газеты в Сибири», думая, что можно жаловаться. Они были все больные. В общем, я видела много горя, много человеческого горя. Тем не менее, я продолжала трудиться.

Про домну у меня было стихотворение, про сталеваров. Они после своей смены выходили измученные, хотели пить пиво, есть, а в магазинах ничего не было, никакой еды. А вот водки – пожалуйста. Ну, разумеется, я этим не интересовалась. Они ко мне хорошо относились, понимали, что это какое-то московское явление. Ну что же, я в комбинезоне, в каске, что смехотворно. Но это я еще начала в газете «Метростроевец», там, может быть, были какие-то поблажки.

Рассказ, который я очень ценю, это когда ездила с «Литературной газетой» в Сибирь, – «На сибирских дорогах». Я помню, как я ездила по Сибири на машине, и я уже была в каком-то платьице, мать мне из Америки прислала, брюки я не носила… Шера Израилевич Шаров со мной был, писатель, в рассказе он действует как Шура, такой нескладный человек, он сидел, ноги заплетал всегда и пил. Очень хороший. И вот он тоже со мной путешествовал.

И вот в райкоме мы стали просить какой-то помощи, чтобы доехать в нужное место. Встретили секретаря райкома Ивана Матвеевича и его помощника Ваню… Они измученные были, а я показывала удостоверение, что я корреспондент. Я стала просить их:

– Ну как же, мне надо добраться, у меня командировка, удостоверение.

Они были измученные, у них были красные глаза от недосыпа, потому что огромные степные районы, уборка, они этим должны были заниматься, но повезли нас.

У Шеры было задание археологов найти, а у меня – хакасского знаменитого сказителя, певца.

Искали мы девять человек археологов по огромному пространству. Девять археологов один однорукий возглавлял. Это подробно описано в рассказе, который у меня назывался «Лето, полное невзгод», что ли. Но Мери Лазаревна Озерова сделала «На сибирских дорогах»…

И вот все-таки секретарь и его помощник поехали с нами… Мы всё искали этих археологов, а заехали в баню по дороге. Они в мужскую баню, а я в женскую. И там голые женщины мылись, в основном железнодорожные рабочие, и, когда я явилась, они так надо мной смеялись. Они знали, что какая-то московская, и говорили:

– Эх ты, какая белая-то. Ну, побудь с нами, мы на тебя быстро черноту наведем.

Хорошо относились, я стеснялась, но они хорошо относились и смеялись надо мной.

Потом мы сели в «Газ-69» и поехали, всё археологов искали. В

результате мы их нашли, но очень долго искали. А хакасский знаменитый сказитель, певец, которого я искала, ушел на медведя охотиться. У них так можно было. В результате характер этих хакасов описан. И этот инструмент, на котором сам главный сказитель играл, а брат его назвал «чатхан». И там легенда была, это брат исполнял, про какого-то богатыря, которого звали Кюн-Тенис. У него был красный кафтан на девяти пуговках, и все это было мною описано и воспето.

А еще, когда по дороге ехали, хакасская природа такая мощная – то степи, то лес. Ехали, вдруг под машиной что-то хрустнуло, и Ваня, младший, заместитель Ивана Матвеевича, сказал:

– Эх, бедный бурундучишка.

Остановил машину, говорит:

– Нет, уцелел бурундучишка, это цветок с таким мощным стеблем попал под колесо машины.

Когда мы нашли археологов, они бросились к нам с такими расспросами: «Что в Москве?» Они долго в Сибири были, у них работа такая. И вдруг я смотрю – где Иван Матвеевич и Ваня? А их нет. Они увидели, что мы достигли цели, и уехали.

Вообще рассказ очень хороший. Он сразу был напечатан, из-за Сергея Сергеевича, конечно. Я приехала, и такие сплошные удачи. А может, относительные.

Кстати, стихотворение «О, еще с тобой случится все, и молодость твоя…» – это не прямое посвящение, но Шере Шарову. Ему очень нравилось это стихотворение.

Это я! Ах, поскорее
выслушай и отвори.
Стихнули и постарели
плечи бедные твои.
Я нашла тебе собрата –
листик с веточки одной.
Как же ты стареть собрался,
не советуясь со мной!»

К тому времени как Белла Ахмадулина вернулась из Сибири, многое уже переменилось. Эти годы вообще отличались тем, что все очень быстро менялось. Еще недавно и представить себе было трудно, что исключенная по такой политической причине студентка может быть вскоре восстановлена в институте, а в 1960 году с этим не возникло особых проблем. Помог Ахмадулиной с этим Смирнов, продолжавший ей покровительствовать.

«Да что это такое, почему, как талантливый человек, его

начинают исключать, травить, как-то издеваться, – говорил он на собрании секретариата Союза писателей. – Надо спасать молодых, и учить, и отличать талант, который нуждается в защите, от того, кто не своим делом занимается».

Ахмадулина там тоже была, с интересом посматривала на собравшихся мэтров от литературы и старалась вести себя как можно скромнее, насколько это позволяли туфли на высоких каблуках и юбка, расшитая блестками. Она и в институте многих раздражала своим внешним видом. Надежда Макаровна к тому времени уже работала в США и присылала оттуда посылку за посылкой. «Мать прислала мне красивейшее красное пальто из Америки, пуговицы сзади, – вспоминал Ахмадулина, как бесились в институте при виде ее американских нарядов. – Они на меня нарисовали карикатуру: значит, на моем «москвиче» было написано «made in USA», из головы у меня «made in USA», и на пальто с пуговицами сзади – «made in USA». Карикатура. И там был один человек, преподаватель по театру, и, видимо, он пережил космополитизм и всё, потому что он увидел карикатуру и заплакал. «Made in USA» – из головы висело объявление».

О маминой семье у многих неверное представление. Отца, Ахата Валеевича, сразу «записывают» в министры, что уж говорить о моей бабушке Надежде Макаровне, которая работала в США, откуда присылала те самые пресловутые наряды, за которые однажды на Беллу Ахмадулину обрушилась безжалостная советская сатира. Вместе с элегантными платьями она присылала маме Marlboro. В семнадцать лет, вальяжно рассевшись с сигаретой у бабушки на кухне, я с неподдельным удивлением говорила: «Не понимаю, зачем ты присылала маме сигареты? Курить – вредно!» Сейчас, когда даже грудные младенцы знают о вреде табака, такое трудно себе представить. Но бабушкина реакция была искренней, ее наивность всегда меня удивляла. Впрочем, и мир тогда был другим.

Елизавета Кулиева, дочь Беллы Ахмадулиной.

Вскоре после окончания института Белла Ахмадулина выпустила свой первый сборник «Струна». Тогда, оценивая ее дебют, поэт Павел Антокольский написал в посвященном ей стихотворении: «Здравствуй, Чудо по имени Белла!» Тогда же к Белле Ахмадулиной пришла первая известность вместе с первыми поэтическими выступлениями в Политехническом музее, Лужниках, Московском университете (вместе с Вознесенским, Евтушенко и Рождественским), собиравшими огромную аудиторию.

В обществе, утомленном навязшим в зубах официозом от имени народа и партии, ощущалась острая необходимость в правдивом слове и личностном начале. Поэзия вдруг стала необычайно востребована. Поэты, читавшие свои стихи в Полититехническом институте собирали аншлаги. Там можно было услышать то, чего не было в телевизоре, газетах и на официальных собраниях: настоящая лирика, поэтический отклик на злободневные темы, вопросы, волновавшие «маленького человека».

Звенящий голос Беллы Ахмадулиной – круглощекой комсомолки, которая умудрялась писать поразительные по силе, свежести, чистоте души, глубине чувства стихи, – завораживал тысячи поклонников. Иосиф Бродский называл ее «несомненной наследницей лермонтовско-пастернаковской линии в русской поэзии». Он писал, что ее «стих размышляет, медитирует, отклоняется от темы; синтаксис – вязкий и гипнотический – в значительной мере продукт ее подлинного голоса». «Никто не позавидует женщине, пишущей стихи в России в этом столетии, – говорил он, – потому что есть две гигантские фигуры, являющиеся каждой, взявшей перо в руки, – Марина Цветаева и Анна Ахматова. Ахмадулина открыто признаётся почти в парализующем для неё очаровании этих двоих и присягает им на верность. В этих исповедях и обетах легко различить её претензию на конечное равенство».

Вообще, я равнодушна к собственным книгам. Никогда по ним не скучала. Абсолютно не было навязчивой идеи: издаться, издаться! Наверное, это еще одно счастливое устройство организма. Когда в 62-м году первая изуродованная книжонка (составленная по редакторскому усмотрению) появилась, я не придала ей никакого значения. Знакомые говорят: сборник теперь раритет. Но мне это – фу! Несмотря на то, что два хороших молодых стихотворения в нем точно есть. Печатают – не печатают… Да меня всегда не печатали. Если и промелькну где-то, смотришь: опять провинилась.

«Аудитории ждали поэтов, – пишет Игорь Вирабов. – Расхожее заблуждение – будто поэтические вечера на эстрадах были изобретением и основным занятием исключительно Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулиной, Рождественского да Окуджавы. Это совсем не так: «эстрадниками» вдруг сделались все – вечера проводили и кондовики, и мастодонты, и осуждавшие, и отсидевшие, и просто юнцы. Любые вечера на любых площадках шли на ура – дорвался народ до поэзии.

Другое дело, что при всем этом общем возбуждении самый ажиотаж был именно там, где появлялись Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, Окуджава, Рождественский. Это, конечно, было остальным обидно.

На одном из вечеров среди поэтов на сцене не оказалось Евтушенко и Вознесенского – завалили записками из зала: где они? почему? Как вспоминают очевидцы, Ярослав Смеляков решил внести ясность: да что же это такое! в московской секции триста поэтов, и каждый считает, что пишет лучше других… Пауза. Ну, по крайней мере, не хуже.

Смех в зале. Сцена скуксилась.

Как-то в Театре эстрады Семен Кирсанов прочел стихи, которые писал 30 лет назад. Все разинули рты. Раз так, Кирсанов прочел еще и написанное 40 лет назад… Потом вышел Вознесенский и сразу честно признался, что он не соперник Семену Исааковичу – нет у него ничего тридцати-сорокалетней давности. Молодежь в зале оценила шутку, бывший футурист Кирсанов уловил иронию.

Вот это безумно кружило головы публике – радость общения: где еще узнаешь, увидишь, какие искры пробегают между поэтами, как относятся они друг к другу, о чем на самом деле думают. Тоска в читателях давно созрела – по слову живому: к тому же стихи звучали с эстрады чаще без купюр, со строчками, исчезнувшими в напечатанных текстах. Где такое было услышать читателям?

Как-то Анна Ахматова отмахнулась – и Лидия Чуковская записала, похоже, не скрывая злорадства: что про этих Вознесенских говорить, это ж «эстрадники».

Кто только не повторит потом: вот как Анна Андреевна сказала.

Однажды Ахматова мнение изменила, возможно, ненадолго, – диссиденты Лев Копелев и Раиса Орлова вспомнят в своих «Встречах» с Анной Ахматовой другие ее слова, сказанные после поездки в Италию (где Анне Андреевне пришлось выступать перед большой аудиторией): «Я раньше всё осуждала «эстрадников» – Евтушенко, Вознесенского. Но оказывается, это не так уж плохо, когда тысячи людей приходят, чтобы слушать стихи».

Вот загадка: почему те слова Ахматовой будут вспоминать, а эти – нет? Есть и такое мнение: а если Копелев с Орловой интерпретировали ее высказывание по-своему? А если нет? Конечно, споры тут бессмысленны: отношение Ахматовой к «эстрадникам» не было восторженным. Но сама вероятность таких вот сентиментальных перепадов в ее настроении – любопытна.

В 1930-х Пастернак записал: «Году в двадцать втором я был пристыжен сибаритской доступностью победы эстрадной. Достаточно было появиться на трибуне, чтобы вызвать рукоплесканья. Я почувствовал, что стою перед возможностью нарождения какой-то второй жизни, отвратительной по дешевизне ее блеска, фальшивой и искусственной».

Кто-то, наткнувшись на эту цитату, кинется стыдить ею ученика Пастернака. Видимо, по неосведомленности.

Где-то в сороковых послевоенных годах Пастернак провел свой литературный вечер. Потом еще и еще, читал переводы, стихи, в том числе и ненапечатанные, – пока эти вечера не прикрыли. Сын Пастернака, Евгений Борисович, вспомнит, как поэта, отвергавшего прежде «разврат эстрадных читок», теперь стало восхищать общение с аудиторией. Как он специально или невзначай забывал какие-то строки – и зал подсказывал… Ну просто как «эстрадник» какой-то.

Все же загадка: почему, вспоминая одно – всегда будут «забывать» другое? Сведение мелких счетов, возня литературных лагерей, «идеологические» причины?»

«Б. Ахмадулина. Музыкальный голос. Не вполне вразумительная дикция. При очном слушании мешает и манерность поэтессы, и дикционная скороговорка… При слушании по радио манерность пропадает, темп исполнения дает возможность не только слушать, но и слышать.

А. Вознесенский. При всей неупорядоченности и даже произвольности стихи впечатляют высокой поэтической культурой. Из особенностей исполнения характерны запевания, во имя чего стихи произносятся иногда по словам: «Слава / вам, / Варвары / всех / времен».

Интересно чрезмерное увлечение звуком, например, в стихотворении «Осень»: «Утиных крыльев переплеск». В стихотворении «Гойя» своего рода звуковая одержимость…

Евг. Евтушенко. Великолепное доходчивое чтение и разнообразие приемов – выразительная смена темпов, тембров и силы голоса, неожиданные паузы, душевные голосовые замирания. Волнующие задыхания голоса.

Б. Окуджава. Когда-то пел с гитарой. Гитара, говорит теперь, ему надоела. Его отличает общая напевность исполнения («Как я сидел в кресле царя»). Изохронность (разновременность) исполнения (шуточное стихотворение на смерть Пушкина, где есть строки «Умереть тоже надо уметь»). Метризованность чтения, скандирование («О красках»).

Б. Слуцкий. Любопытен говор (а не типичное для большинства поэтов пение или запевание) под Маяковского и

обязательные (почему-то) паузы после каждого слова. То, что у Вознесенского органично и музыкально, у Б. Слуцкого производит досадное впечатление – теряются именно главные слова».

Из черновиков поэтессы и переводчицы Фейги Коган «Проблема авторского исполнения поэтов».

Степень популярности литературных чтений в Политехническом и самих молодых поэтов, ставших голосами «оттепели», можно представить себе хотя бы по фильму Марлена Хуциева «Застава Ильича». Там есть знаменитый эпизод – поэтический вечер в Политехническом музее. На пятнадцать минут сюжет фильма замирает – герои сидят в переполненном зале и слушают, как читают стихи Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Римма Казакова и, разумеется, Белла Ахмадулина, а также поэты старшего поколения – Борис Слуцкий, Михаил Светлов, Григорий Поженян. Булат Окуджава поет «Сентиментальный марш» – и зал хором подпевает ему.

Но самое невероятное в этом эпизоде – это то, что снять его предложила сама министр культуры Екатерина Фурцева. Почему? Видимо, потому, что она тоже чувствовала дух времени, видела приметы времени. Марлен Хуциев хотел показать абсолютно современного молодого человека, шестидесятника (фильм снимали в 1962 году), показать мир, в котором он живет. И сама Фурцева, официальный рупор советской культуры, сочла, что современный интеллигентный молодой человек двадцати трех лет, живущий в столице, не может не посещать вечера в Политехническом. Потому что в период «оттепели» увлечение поэзией стало, по чьему-то меткому замечанию, «знаменем времени».

В фильм пригласили самых популярных молодых поэтов, так впервые появилась на экране и Белла Ахмадулина. В этом фильме ей двадцать пять лет, она недавно закончила Литературный институт, недавно второй раз вышла замуж – за знаменитого сценариста Юрия Нагибина, буквально только что издан ее первый сборник «Струна». Она на взлете, и это видно невооруженным глазом. Правда, она, как это часто с ней бывало, осталась недовольна и собой, и фильмом. Точнее, не всем фильмом, конечно – ей не понравился отрывок, который использовал Хуциев, а стихотворение, которое она там читает, она вообще не раз называла «проклятым».

Правда, Ахмадулина вообще не любила все эти штампы о шестидесятниках, «оттепели», «знаменах времени» и т. д. «Повышенное внимание к той эпохе мне понятно, – рассказывала

Елизавета Кулиева, – но мама к шестидесятникам себя не причисляла и термина этого не признавала. Ей всегда казалось, что люди ее поколения любят в оттепели свою юность – с такой же нежностью мои ровесники вспоминают сейчас конец девяностых. Мама этой ностальгии не разделяла. Художник всегда шире – эпохи, моды, стилистических рамок. И конечно, поэзия не должна быть достоянием миллионов: люди нередко приходили на стадионы не во имя ее самой, а всего лишь отдавая дань моде. По счастливому стечению обстоятельств мамино обаяние, ее красота и необычный голос сделали камерные тексты интересными для неискушенных слушателей. Но степень таланта, конечно, не стадионами измеряется».

Белла Ахатовна Ахмадулина была из тех, кто безо всякой болезненности относилась к этому спору и дискуссии – кто они, женщины, пишущие стихи? Поэты, поскольку само сочинение стихов – занятие совершенно мужское – или поэтессы. Она действительно была великим поэтом или великой поэтессой, я повторяю, ей не было важно, как ее называли.

Когда вспоминаешь ее, то, в первую очередь, вспоминаешь образ птицы, кажется, вот-вот взлетит из фильма Хуциева, где она выступает в той самой аудитории Политехнического, где они, «шестидесятники» – Вознесенский, Рождественский, Окуджава, Ахмадулина – вышли к публике и стали любимы не сотнями, не тысячами, а десятками тысяч. Стадионы – это те, кто приходил на их выступления и кто вслушивался в их стихи.

Казалось, если Евтушенко, Рождественский адресуются действительно к этим самым десяткам тысяч, то голос Ахмадулиной, хотя бы потому, что она женщина, и потому что стихи ее были намного лиричнее, намного интимнее, чем их, полные социального пафоса, адресуется к единицам. Но любили ее точно так же, как и их – тысячи и десятки тысяч. И говорила она в своих стихах вроде и о любви, но и о каких-то очень серьезных, очень важных вещах. Это стихи какой-то невероятной искренности, невероятного какого-то интимного и отражавшего одновременно новые свободные чувства свободного поколения «шестидесятников», к которым она принадлежала.

Григорий Заславский, журналист, критик.

Но не все были такими перфекционистами, а многие зрители, особенно из глубинки, вообще впервые увидели и услышали Ахмадулину и других молодых поэтов. Хотя вышел фильм не сразу, ему больше года пришлось пролежать на полке, а потом его еще и перемонтировали, и в результате от вечера в

Политехническом остался только небольшой кусочек.

«Лучший фильм Марлена Хуциева с трагической судьбой и двумя названиями, – писал о «Заставе Ильича» Валерий Кичин. – Это были годы, когда всесильный Никита Хрущев нападал на творческую интеллигенцию, абстракционистов бранил «пидарасами», скульптору Эрнсту Неизвестному советовал уехать на Запад, а картину Хуциева считал искажением образа молодого современника. В ней юный герой встречается с собственным отцом, погибшим на войне. Отец оказывается ровесником сына и не может ответить на его вопрос: как жить? Потому что и сам еще не жил. Хрущева это особенно возмутило: как так, отец – и не может помочь сыну определиться?! Картину едва не зарубили, но потом все же выпустили на экран под именем «Мне двадцать лет» и с большими купюрами. Сегодня вырезки вернули на место. Великий фильм, наиболее полно рассказавший о своем времени. Документальный эпизод в Политехническом, где читают свои стихи молодые Вознесенский, Евтушенко и Ахмадулина, теперь кажется невероятным: неужели так было, неужели вся страна жила поэзией, словно не замечая «духовного гнета тоталитаризма»? А может, это мы сегодня снова слепы? Ответы содержатся в фильме, а он не врет».

«Застава Ильича» стала первым опытом Ахмадулиной в кино, но отнюдь не последним – довелось ей побыть актрисой, сценаристкой и, как всем известно, автором текстов популярных песен. К сожалению, актерская работа у нее фактически одна, хотя появлялась она в трех фильмах – «Застава Ильича», «Живет такой парень» и «Спорт, спорт, спорт». Но если в двух из них она только читала стихи, то в знаменитом дебютном фильме Василия Шукшина «Живет такой парень», вышедшем на экраны в 1964 году, она играет небольшую, но вполне настоящую серьезную роль молодой ленинградской журналистки.

В 1956 году пришла пора срочно взрослеть. Стало понятно, что не все так лучезарно. Какой-то выбор безвыходно надо было сделать. В 1959 году просто-напросто не могла подписаться под письмом, оскорбительно и гибельно глумящимся над Пастернаком. Я ни в коем случае не преувеличиваю значение этого естественного поступка, исключение из института и работа корреспондентом в Сибири пошли мне на благо. Так что в шукшинском фильме сыграла себя, хотя по сценарию должна была играть черствую, чопорную, безжалостную горожанку.

Ее героиня приходит «к такому парню» – Пашке Колокольникову (Леонид Куравлев) в больницу, куда он попал

после того, как совершил подвиг – сел за руль горящей машины и вывел ту за пределы нефтебазы. Пашка – бесшабашный, нагловатый парень, бегающий за каждой юбкой, но при этом совершенно простой и даже простоватый. Журналистка по контрасту с ним – девушка городская, модная. Она задает ему всего два вопроса: «где учились» и «почему в горящую машину». Ни на один из них герой Леонида Куравлева ответить не может. Бесхитростно он говорит ей: «Боюсь, вы напишите, а мне потом стыдно будет перед людями». Затем предлагает: «А ты сама напиши что-нибудь такое, ты же умеешь».

В сценарии о журналистке было написано: «странная и прекрасная». Кто больше Ахмадулиной мог соответствовать этому определению? Правда, Ахмадулина не пожелала играть надменную оторванную от жизни «инопланетянку», спустившуюся с небес прямо в больничную палату брать интервью о подвиге у Пашки Колокольникова.

«Когда мы впервые встретились с Василием Макаровичем, – рассказывала она, – он увидел во мне то, что было ему противопоказано и даже отчасти отвратительно. Я ему показалась нарядной городской дамочкой. И поэтому он позвал меня в свой фильм «Живет такой парень», где по сценарию журналистка – просто омерзительное существо. Ей все равно, что там происходит на Алтае, ей совсем нет дела до какого-то там Пашки Колокольникова. Она надменна. Она спрашивает и не слышит. Я тогда сказала: «Василий Макарович, вы очень ошиблись, увидев во мне хладнокровную городскую дамочку. На самом деле я другая». И поведала ему, как во время моих невзгод работала нештатным корреспондентом «Литературной газеты» в Сибири, как смеялись надо мной сталевары или подобные шукшинскому герою люди. Они были ко мне милостивы, но ужасно ироничны. Разыгрывали меня, сообщали о грандиозных успехах, я мчалась к ним во всю прыть, записывала, но потом оказывалось, что такого быть просто не может. В общем, со мной происходило все строго обратное, чем описано в сценарии.

Он сказал, что ничего менять не надо, а можно играть прямо так. Даже из текста ни слова не выкинули. Но героиня получилась хорошей, не знающей жизни, но наивной и светлой. Во время съемок мы с Шукшиным сдружились. И дружили потом очень долго. Я его примиряла с Москвой, водила везде. На его гонорар от фильма купили ему костюм, галстук, туфли. Помню, тогда же выкинули в мусоропровод его кирзовые сапоги, в которых он неизменно ходил. Он был замечательный и в то же время всегда несчастный».

Журналистка во время разговора нервно кусает ручку и

заявляет: «Мне надо уезжать, а материал срочно сдавать». Кусать ручку было привычкой самой Беллы Ахмадулиной. Да и снималась она в своем собственном свитере – она любила такие свитера крупной вязки, под горло. Теперь, спустя много лет, этим ее героиня особенно и ценна – глядя на нее можно увидеть, какой была сама Ахмадулина, как она говорила, как держалась, как выглядела.

Очень многие общие знакомые Ахмадулиной и Шукшина вспоминали, что у них на съемках завязался роман – короткий, но яркий, как это бывает у творческих людей. Но сама она это всегда отрицала, хоть и признавала, что он действительно был ей очень дорог: «Когда Шукшин умер, я тогда так переживала, чуть не обезумела, – говорила она. – Очень переживала. И, надеюсь, в этом нет никакой двусмысленности, у меня в воспоминаниях это написано специально, чтобы никто не подумал, что это было больше, чем дружба. Написано все правда, чтобы никаких клевет, никаких намеков. Лида Федосеева-Шукшина меня никогда не подозревала, что это был какой-то роман, она поверила, что это была дружба, очень странная, может быть, но очень чистая. Это не в моем все духе».

Отрывки из книги Беллы Ахмадулиной «Миг бытия».

Мы встретились впервые в студии телевидения на Шаболовке: ни его близкая слава, ни Останкинская башня не взмыли ещё для всеобщего сведения и удивления. Вместе с другими участниками передачи сидели перед камерой, я глянула на него, ощутила сильную неопределённую мысль и ещё раз глянула. И он поглядел на меня: зорко и угрюмо. Прежде я видела его на экране, и рассказы его уже были мне известны, но именно этот его краткий и мрачно-яркий взгляд стал моим первым важным впечатлением о нём, навсегда предопределил наше соотношение на белом свете…

…Однако вскоре выяснилось, что эти безошибочные глаза впервые увидели меня скорее наивно, чем проницательно. Со Студии имени Горького мне прислали сценарий снимающегося фильма «Живёт такой парень» с просьбой сыграть роль Журналистки: безукоризненно самоуверенной, дерзко нарядной особы, поражающей героя даже не чужеземностью, а инопланетностью столичного обличья и нрава. То есть играть мне и не предписывалось: такой я и показалась автору фильма. А мне и впрямь доводилось быть корреспондентом столичной газеты, но каким! – громоздко-застенчивым, невнятно бормочущим, пугающим занятых людей сбивчивыми просьбами о прощении, повергающим их в смех или жалость. Я не скрыла этого моего полезного и неказистого опыта,

но мне сказано было – всё же приехать и делать, как умею. Так и делали: без уроков и репетиций.

Этот фильм, прелестно живой, добрый и остроумный, стал драгоценной удачей многих актёров, моей же удачей было и осталось – видеть, как кропотливо и любовно сообщался с ними режиссёр, как мягко и безгневно осуществлял он неизбежную власть над ходом съёмок.

Что касается моего скромного и невразумительного соучастия в фильме, то я вспоминаю его без гордости, конечно, но и без лишнего стыда. Загадочно неубедительная Журналистка, столь быстро утратившая предписанные ей сценарием апломб и яркость оперения, обрела всё же размытые человеческие черты, отстранившие от неё первоначальное отчуждение автора и героя. Был даже снят несоразмерно долгий одинокий проход этого странного существа, не вошедший в заключительные кадры фильма, но развлекавший задумчивого режиссёра в темноте просмотрового зала, где они шли навстречу друг другу через предполагаемую пропасть между деревенскими и городскими жителями во имя более важных человеческих и художественных совпадений. Преодоление этой условной бездны, не ощущаемой мною, но тяготившей его в ту пору его жизни, составило содержание многих наших встреч и пререканий. Опережая себя, замечу, что если он и принял меня вначале за символ чуждой ему, городской, умственно-витиеватой и не плодородной жизни, то всё же его благосклонность ко мне была щедрой и неизменной, наяву опровергавшей его теоретическую неприязнь.

Со съёмок упомянутого фильма началась наша причудливая дружба, которая и теперь преданно и печально бодрствует в моём сердце. Делая необязательную уступку наиболее любопытным читателям, оговариваюсь: из каких бы чувств, поступков, размолвок ни складывались наши отношения, я имею в виду именно дружбу в единственном и высоком значении этого лучшего слова. Это вовсе не значит, что я вольна предать огласке всё, что знаю: это право есть у Искусства, а я всего лишь имею честь и несчастье писать воспоминания.

В ту позднюю осень, в ту зиму мы оба, не очень, правда, горюя, мыкались и скитались: он – потому что это было первое начало его московской жизни, пока неуверенной и бездомной, я – потому что тоща бежала благоденствия, да и оно за мною не гналось. Вместе бродили и скитались, но – не на равных. Ведь это был мой город, совершенно и единственно мой, его воздух – мне удобен, его лужи и сугробы – мне отрадны, я знаю наперечёт сквозняки арбатских проходных дворов, во множестве домов этого города я всегда имела приют и привет. Но он-то был родом из других мест,

по ним он тосковал во всех моих чужих домах, где мрачнел и дичился, не отвечал на любезности, держал в лице неприступно загнанное выражение, а глаза гасил и убирал, вбирал в себя. Да и радушные хозяева не знали, что с гордостью будут вспоминать, как молчал в их доме нелюдимый гость, изредка всверкивая неукрощенным вольным глазом, а вокруг его сапог расплывался грязный снег.

Открою скобки и вспомню эти сапоги – я перед ними смутно виновата, но перед ним – нет, нет. Дело в том, что люди, на чьём паркете или ковре напряжённо гостили эти сапоги, совсем не таковы были, чтобы дорожить опрятностью воска или ворса. Но он причинял себе лишнее и несправедливое терзание, всем существом ошибочно полагая, что косится на его сапог соседний мужской ботинок, продолговатый и обласканный бархатом, что от лужи под сапогами отлепётывают брезгливые капризные туфельки. То есть сапоги ему не столько единственной обувью приходились, сколько – знаком, утверждением нравственной и географической принадлежности, объявлением о презрении к чужим порядкам и условностям…

…Одного-то он наверняка никогда не постиг: нехитрого знания большинства людей о существовании обувных магазинов или других способов обзаводиться обувью и прочим вздором вещей.

И всё же – в один погожий день, он по моему наущению был заманен в ловушку, где вручили ему свёрток со вздором вещей: ну, костюм, туфли, рубашки… Как не хотел! А всё же я потом посмотрела ему вслед: он шёл по Садовому кольцу (по улице Чайковского), лёгкой подошвой принимая привет апрельского московского асфальта.

Кстати, я всегда с грустью и со страхом смотрю вслед тем, кого люблю: о, только бы – не напоследок.

Вот и всё о бедных сапогах, закрываю скобки.

Да, о домах, куда хаживали мы вместе в гости, – ничего из этого не получилось. Поэтому чаще мы заходили в те места, в которые, знаете ли, скорее забегают, чем заходят. В одном из таких непритязательных мест на проспекте Мира, назовём его для элегантности «кафе», я заслужила его похвалу, если не хвалу – за то, что мне было там хорошо, ловко, сподручно и с собеседниками я с лёгкостью ладила. Много таких мест обошли мы – они как бы посредине находились между его и моими родными местами. В окне висела любезная мне синева московских зимних сумерек, он смягчился и говорил, что мне надо поехать в деревню, что я непременно полюблю людей, которые там живут (а я их-то и люблю!), и что какие там в подполе крепкие, холодные огурцы (а я их-то и вожделею!), что всё это выше и чище поэтической

интеллигентской зауми, которую я чту (о, какие были ужасные ссоры!).

Многие люди помнят пылкость и свирепость наших пререканий. Ни эти люди, ни я, ни вы – никто теперь не может сказать в точности: что мы делили, из-за чего бранились? Ну, например, я говорила: всякий человек рождён в малом и точном месте родины, в доме, в районе, в местности, взлелеявшей его нрав и речь, но художественно он существует – всеземно, всемирно, обратив ум и душу раструбом ко всему, что есть, что было у человечества. Но ведь так он и был рождён, так был и так сбылся на белом свете. Просто он и я, он – и каждый человек, с которым он соотнёсся в жизни и потом, – нерасторжимы в этой пространной земле, не тесной для разных способов быть, говорить, выглядеть, но всё это – ей, ей лишь.

Последний раз увиделись в Доме литераторов: выступали каждый – со своим. Спросил с усмешкой: «Ну что, нашла свою собакуя?» – «Нет». – «Фильм мой видела?» – «Нет». – «Посмотри – мне важно»…

…Дальнейшее – обозначаю я безмолвием моим. Пусть только я знаю.

Около Ново-Девичьего кладбища рыдающая женщина сказала мне:

– Идите же! Вас – пустят.

Милиционер – не пустил, у меня не было с собой членского билета Союза писателей. Я сказала: «Я должна. Я – товарищ его. И я писатель всё же, я член Союза писателей, но нет, понимаете вы, нет при мне билета».

Милиционер сказал: «Нельзя. Нельзя». И вдруг посмотрел и спросил: «А вы, случайно, не снимались в фильме «Живёт такой парень»? Проходите. Однако вы сильно изменились с тех пор».

Я и впрямь изменилась с тех пор. Но не настолько, чтобы – забыть.

Так дружить, как она, никто не умел. Было ощущение, что это у нее в крови. Она очень тесно общалась в Василием Шукшиным, хотя мне всегда казалось, как это может быть, чтобы пересекались две непохожих друг на друга планеты: лиричная, нежная, ахмадулинская, и шукшинская – грубоватая, простоватая.

Помню удивительный случай. Мы в алтайской гостинице, и тут звонок по телефону и какой-то грязный голос в трубке: «Тут у нас в гостинице пьяный валяется. Говорит, что вас знает. «Так кто?» – «Не знаем, Шукшин какой-то.» И Белла сразу вскочила: «Умоляю, его не трогайте, в милицию не сдавайте! Приеду, всех озолочу!» И потом Белла рассказывала: «Вбегаю в холл

гостиницы, лежит бездыханный Вася, а над ним глумится чернь!»

Евгений Попов, поэт, писатель.

В 1965 году голос Ахмадулиной снова прозвучал в фильме, но сама она там не появилась – это была картина «Чистые пруды» по произведениям Юрия Нагибина, за которым она тогда была замужем. Она же была и автором сценария этого фильма, но по всей видимости, все делалось под внимательным руководством Нагибина, и роль Ахмадулиной в создании этого фильма была скорее вспомогательной.

Зато сценарий к короткометражному фильму «Стюардесса», снятому в 1967 году, Ахмадулина писала точно сама. Фильм этот тоже по рассказу Нагибина – это история любви интеллигентной, доброй, самоотверженной девушки, которую играет блистательная Алла Демидова, к геологу, полностью увлеченному своей работой. Он ищет нефть на Крайнем Севере, а она ради него бросает прежнюю научную работу и идет стюардессой на дальние рейсы, чтобы на несколько минут во время посадки самолета в далеком северном аэропорту встречаться с любимым человеком. Она боится летать, но старается этого не показывать, ей досаждают пьяные и истеричные пассажиры, но она терпит. Единственный, кто видит в ней человека, – главный герой фильма, сценарист, которого играет Георгий Жженов. После встречи с любимым стюардесса признается ему: «Он два года будет искать нефть, а я буду к нему летать. И тогда он научится меня любить по-настоящему, и я совершу посадку». Этого монолога нет в рассказе Нагибина, который лег в основу сценария, его сочинила Ахмадулина. Кстати, фильм вышел буквально под занавес их брака. В 1969 году он удостоился специального приза жюри VI Международного фестиваля телевизионных фильмов в Праге, а Нагибин с Ахмадулиной к тому времени уже расстались. Правда, причины их разрыва были отнюдь не творческие, а совершенно личные, но об этом немного позже…

В 1971 году Ахмадулина вновь появилась на экране – на этот раз в фильме Элема Климова «Спорт, спорт, спорт». Это был своеобразный проект – частично художественный, частично документальный. У него был сюжет. Перемежавшийся спортивными сценами прошлого, настоящего и даже будущего, а разные знаменитости того времени рассказывали о своем отношении к спорту.

Но Белла Ахмадулина там не только говорит о своем отношении к спорту: «В спорте отражается лучшее, что в человеке есть, – его детская непринужденность, стремление к

бескорыстной победе – не в ущерб другим людям». Она еще на фоне прекрасных белых лебедей читает свои стихи во славу олимпийцев: «Ты – человек! Ты – баловень природы. / Ты в ней возник, в ее добре, тепле, / Возьми себе урок ее свободы, / Не обмани ее любви к тебе!».

После участия Беллы Ахмадулиной в фильме «Спорт, спорт, спорт» жена Элема Климова – режиссер Лариса Шепитько хотела снять ее в главной роли в своем фильме об ученых «Ты и я» по сценарию Геннадия Шпаликова. «Влиятельность её авторской воли я вполне испытала на себе, – вспоминала о Ларисе Шепитько Ахмадулина. – Лариса хотела, чтобы я снималась в её фильме, и я диву давалась, замечая свою податливость, исполнительность: я была как бы ни при чём: у Ларисы всё выходило, чего она хотела от меня. Это моё качество было мне внове и занимало и увлекало меня. Лариса репетировала со мной сначала у неё дома, на набережной, потом на «Мосфильме». Всё это было совсем недолго, но сейчас я чётко и длинно вспоминаю и вижу эти дни, солнце, отрадную близость реки. В силе характера Ларисы несомненно была слабость ко мне, и тем легче у неё всё получалось. Лариса открыто радовалась моим успехам, столь важным для неё, столь не обязательным для моей судьбы, ведь у меня – совсем другой род занятий. Но я всё время принимала в подарок её дар, ярко явленный в её лице, в её указующей повелительности.

Всё-таки до съёмок дело не дошло, и я утешала её: «Не печальтесь! Раз Вы что-то нашли во мне – это не пройдёт с годами, вот и снимите меня когда-нибудь потом, через много лет». Лариса сказала как-то грозно, скорбно, почти неприязненно: «Я хочу – сейчас, не позже».»

В этом фильме Белла Ахмадулина могла бы сыграть вместе с Владимиром Высоцким. Но увы, чиновники от кино не утвердили ни ее, ни Высоцкого…

Надо хорошо понимать, зачем ты появляешься на телеэкране. Некоторые люди очень успешно там себя изъявляют, но это редкий дар, а те, кто этим злоупотребляет, вредят собственному облику, потому что телевидение – это разоблачительное устройство. С лицом лукавым, или исполненным фальши лучше не появляться, потому что даже не самый проницательный зритель это заметит. Или знай, что ты хочешь сказать. Когда я что-то говорю, а потом слышу в ответ какие-то добрые слова, это значит, люди поняли, что я хотела им сказать.

Часто так происходит благодаря телевиденью, потому что книги трудно достижимы. Раньше они издавались в промежутках

между запретами, но малыми тиражами, были больше даже известны пластинки с записями, теперь – коммерциализация в издательстве преобладает. Тем не менее с телевидением надо быть очень осторожным. Недавно я попала случайно в чудовищно бездарную программу, вманили в какие-то съемки, но меня, по счастью, там почти не видно. Причем автор назвал серию этих передач как-то вроде «Жизнь замечательных людей», и я ему говорила: «Когда кто-нибудь это увидит, то скажет, если у вас замечательные люди таковы, то какие же остальные?» Поехали снимать Петербург, так у него даже этого города замечательного снять не получилось, гонялся там за чайкой какой-то. Я ему говорю: «Оставьте хоть птицу в покое».

Ну и кроме всего прочего нельзя забывать о песнях на стихи Ахмадулиной. Они звучали в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!» («По улице моей»), «Пришла и говорю», «Жестокий романс» («А напоследок я скажу», «Романс о романсе», «Снегурочка»).

Эльдар Рязанов вспоминал о том, как подбирал песни для фильма «Жестокий романс»: «Вначале я, обожающий старинные романсы, буквально начинил ими сценарий. Потом я понял, что вставленные мною романсы столь часто исполняются по радио и телевидению, что, хоть они и не стали от этого хуже, в какой-то степени все же поднадоели. Тогда я принялся за штудирование русской женской поэзии, надеясь оттуда извлечь стихи для романсов Ларисы. Однако ни у одной из талантливых поэтесс девятнадцатого столетия я не смог отыскать того, что хотел. Все казалось мне чересчур архаичным. И тогда я прибег к помощи моей любимой Беллы Ахмадулиной, к содействию невероятно чтимой Марины Цветаевой. У них я нашел то, что мне было нужно. Правда, их стихотворные строки звучат сложнее, чем могло бы быть в эпоху Островского… Но это обогащало, по моему мнению, героиню, говорило о многогранности ее внутреннего мира… Все романсы, написанные им [композитором Андреем Петровым] для картины, мелодичны, очаровательны, нежны… Это не стилизация, а фантастическое умение объединить старинность и современность в единое, гармоничное звучание».

Безусловно, самый важный романс фильма, тот самый «жестокий романс» – это «А напоследок я скажу…» на стихотворение Беллы Ахмадулиной, опубликованное в 1965 году. Это действительно главный романс, поскольку его роль – поворот к трагической развязке. Его словами Лариса излагает историю своей любви, историю своего обмана и разочарования не только в любимом человеке, а и во всем окружающем мире.

Все романсы Ларисы исполнила Валентина Пономарева, чье имя, как это часто бывало в советском кино, в титрах даже не упоминалось. Успех романсов был бешеный – после выхода фильма все музыкальные редакции Всесоюзного радио были завалены письмами с просьбой либо еще раз передать понравившиеся вещи по радио, либо назвать фамилию исполнительницы. Выпущенное количество пластинок с музыкой к «Жестокому романсу» превысило два миллиона экземпляров.

Впрочем, одна песня на стихи Ахмадулиной была уже всесоюзно известной и безумно любимой еще до выхода «Жестокого романса». Речь, конечно, о песне «По улице моей» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» И здесь не лишним будет одно небольшое наблюдение – Рязанов использовал в этом фильме стихотворение «По улице моей» Ахмадулиной, посвященное Евгению Евтушенко, и стихотворение Евтушенко «Со мною вот что происходит», посвященное Ахмадулиной. Намеренно он это сделал или случайно так получилось, кто знает. В жизни бывают всякие совпадения.

Ахмадулина, когда ее спрашивали об этом романсе, только плечами пожимала: «Рязанов, меня не спрашивая, просто брал стихи – так было в «Иронии судьбы», «Служебном романе», «Жестоком романсе». Мы ведь столько лет дружим!» Но, видимо, ей нравилось то, что получилось, по крайней мере о музыке, на которую положили ее стихотворение, она была очень высокого мнения: «Сначала музыка, но речь вольна о музыке глаголить, – говорила она о композиторе Микаэле Таривердиеве, написавшем музыку к кинофильму «Ирония судьбы, или С легким паром!». – Музыка не может унизить смысл или задеть его, или оскорбить. Она может только возвысить его, если это музыка. Музыке, в чистейшем смысле этого слова, Таривердиев и служил. Он был изящный, элегантный человек. Я не говорю о моих стихах, которые навсегда совпали с музыкой, которую он посвятил им. Присущая ему тонкость сопутствовала всей его жизни. Ну и моей отчасти. Потому что мы совпали по времени, совпали по жизни. Думаю, что между нами были и другие совпадения. Отвращение к развязности, вульгарности, так я полагаю. Его поведение, его человеческое, художественное, музыкальное, мужское поведение было безупречным. Не могу предположить, чтобы он когда-нибудь в этом смысле ошибся, оступился. Это было всегда соотнесено с музыкой. Дисгармония была невозможна. Если бы я умела сочинять музыку, я бы написала какую-то музыкальную фразу, и эта фраза соответствовала бы изяществу его силуэта, изяществу его походки и великодушию его всегда вспомогательной, дарующей руки».

Белла Ахмадулина, наверное, один из самых чистых, и это ее удивительная была особенность, голосов русской поэзии. И этот возвышенный, изысканный, невероятно узнаваемый голос был не только в стихах, но и в жизни. Поразительно, когда с ней разговаривал, она никогда не находила каких-то заезженных, штампованных слов, они всегда были другие. Вот то, что строй ее речи поэтической был продолжением ее жизни и ее мира, видимо, и давало ему такую подлинность.

Евгений Бунимович, поэт, педагог и публицист.

Ну и напоследок обязательно надо процитировать Эльдара Рязанова: «Эта женщина была чудом. Ей были дарованы Богом прекрасная внешность, изумительный голос, неповторимый поэтический талант. Она прожила жизнь безукоризненную, была эталоном чести, достоинства и веры в высокие идеалы. Скромность ее была фантастической. Причем не наигранной, а очень естественной. О себе она была как раз не очень высокого мнения. Я в несколько своих фильмов включил песни на ее стихи, и она на полном серьезе считала, что ее популярность пришла благодаря этим фильмам. Белла Ахмадулина была настоящим другом, я ее обожал».

Можно понять восхищение Рязанова – в богемных кругах такая скромность и правда нечто невероятное и исключительное. И у кого-нибудь другого это могло бы показаться кокетством, скрытым призывом расхвалить и разубедить. Но не в случае Ахмадулиной. У нее это не кокетство и даже не скромность, а простая констатация факта – спокойная и без лишних эмоций. Несмотря на свою «инопланетность», Ахмадулина всегда твердо стояла на земле. В те годы кино еще очень многие недооценивали, в богемной среде о нем сложилось устойчивое мнение как о некоем «низком» виде искусства. Конечно, в 70-е это было уже не так, как в 40–50-е, когда театральные актеры относились к киноартистам чуть ли не с презрением, но все же отголоски оставались, и довольно сильные.

Но вот в чем была удивительная особенность Беллы Ахмадулиной, вроде бы и родилась она в номенклатурной семье, и всегда, за исключением военного детства, была «упакована», общалась в основном либо с такими же, как она, детьми из хороших семей, либо с представителями советской богемы, жила в этом узком, оторванном от народа мирке, но… Но сама в отличие от большинства представителей своего круга никогда не была оторвана от реальности. Вспомнить хотя бы историю с Пастернаком, когда она, отбросив эмоции, рассудила, что ей,

москвичке из хорошей семьи, было куда идти в случае исключения из института, и она не имеет права осуждать ребят из деревни, которым, если бы их исключили, оставалось бы только пойти в армию и, скорее всего, навсегда погубить свою карьеру.

Так и с песнями на ее стихи. Она видела то, что, похоже, не видел почти никто в их кругу, включая самого Рязанова, – что даже во время пика популярности поэзии, по-настоящему хорошо знала и любила стихи поэтов-шестидесятников только узкая прослойка интеллигенции. Причем по большей части столичной. Да, это были десятки, возможно, даже сотни тысяч людей, но в Советском Союзе жило почти триста миллионов человек. И большинство из них ни разу не читало стихов Ахмадулиной по самым простым объективным причинам – в школе их не проходили, книги издавались небольшим тиражом, а далеко не все люди так любят поэзию, чтобы выискивать новых современных авторов. Если душа вдруг просит стихов, куда проще взять с полки томик Пушкина или хотя бы поэтов Серебряного века.

А вот кино смотрели все. Могли ругать, считать бесполезным занятием, но все равно смотрели. И песни из фильмов пели, записывали тексты, учили наизусть. Поэтому, когда Надя на вопрос Ипполита, чьи это стихи, ответила: «Ахмадулиной», это была, говоря современным языком, такая реклама, эффективнее которой и быть не может. Трудно даже представить, сколько людей в первые дни января отправилось по библиотекам и друзьям искать книги Ахмадулиной. Да, интеллигентная публика знала о ней давно. Но массовый читатель узнал ее именно после фильмов Рязанова.

А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.

Как ты любил? Ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? Ты погубил,
но погубил так неумело.

Жестокость промаха… О, нет
тебе прощенья. Живо тело,
и бродит, видит белый свет,
но тело мое опустело.

Работу малую висок
еще вершит. Но пали руки,
и стайкою, наискосок,
уходят запахи и звуки.

Белла, Нэлла, Гелла…

Не все в жизни выбираешь, иное выбирает тебя.

Есть старая шутка о том, что когда люди говорят: «В жизни все надо попробовать», они почему-то имеют в виду наркотики и групповой секс, а не шахматы и альпинизм. Но в том и особенность шестидесятников, что к ним этот анекдот относится только наполовину. Они действительно хотели попробовать в жизни все – поэтому их биографии до краев полны романтикой и скандалами, борьбой за идеалы и снова скандалами. Евтушенко писал о себе: «Характер у меня был ужасный – меня прямо-таки разъедало любопытство к жизни; и я из любопытства впутывался в самые невероятные истории. То я попадал в компании самых настоящих воров, то в компании спекулянтов книгами…» И это речь всего лишь о детстве – повзрослев, будущие шестидесятники стали ввязываться в истории куда скандальнее и опаснее, чем какие-то спекуляции книгами. В полной мере относится это и к Белле Ахмадулиной.

Ахмадулина сделала стыд одной из главных своих тем – стыд этот сопровождал ее всю жизнь и диктовался во многом той неупорядоченной, слишком бурной жизнью, какую ей приходилось вести: здесь сказывался все тот же недостаток творческой воли, заставлявший ее иногда длить стихи дальше положенного предела, вступать в лишние отношения, выпивать с ненужными людьми (этой слабости она тоже стыдилась, но и в ней странным образом нуждалась – тем острей бывала трезвая самоненависть, едва ли не самый существенный ее лирический мотив). Но, в отличие от бесчисленных самоупоенных «поэтесс», она оставалась поэтом – именно потому, что жестко и трезво спрашивала с себя; этот же нравственный стержень заставлял ее защищать Сахарова, которого не защищал никто, подписывать письма в защиту диссидентов, поддерживать деньгами выгнанных отовсюду Владимова и Войновича, восторженно отзываться на новые сочинения опальных коллег, чтобы они не чувствовали себя одинокими. В ней могло быть и кокетство, и самолюбование, и что хотите, – но не было лжи: гибла – так гибла, падала – так падала, взлетала – так взлетала.

Дмитрий Быков, писатель.

«Видит Бог, не я это затеял, – писал в своем дневнике Юрий Нагибин о том, как влюбился в Беллу Ахмадулину. – Она

обрушилась на меня, как судьба. Позже она говорила, что всё решилось в ту минуту, когда я вышел из подъезда в красной курточке, с рассеченной щекой, седой и красивый, совсем не такой, каким она ожидала меня увидеть. Я был безобразен – опухший от пьянства, с набрякшими подглазьями, тяжелыми коричневыми веками, соскальзывающим взглядом, шрам на щеке гноился. Хорошим во мне было одно: я не притворялся, не позировал, готов был идти до конца по своей гибельной тропке.

Я понял, что негаданное свершилось, лишь когда она запрыгала передо мной моим черным придурком-псом с мохнатой мордой и шерстью, как пальмовый войлок; когда она заговорила со мной тихим, загробным голосом моего шофера; когда кофе и поджаренный хлеб оказались с привкусом ее; когда лицо ее впечаталось во всё, что меня окружало.

Она воплотилась во всех мужчин и во всех животных, во все вещи и во все явления. Но, умница, она никогда не воплощалась в молодых женщин, поэтому я их словно и не видел. Я жил в мире, населенном добрыми мужчинами, прекрасными старухами, детьми и животными, чудесными вещами, в мире, достигшем совершенства восходов и закатов, рассветов и сумерек, дождей и снегопадов, и где не было ни одного юного женского лица. Я не удивлялся и не жалел об этом. Я жил в мире, бесконечно щедро и полно населенном одною ею. Я был схвачен, но поначалу еще барахтался, еще цеплялся за то единственное, что всегда мог противопоставить хаосу в себе и вне себя, за свой твердый рабочий распорядок. Но и это полетело к черту».

Посмертно изданный «Дневник» Юрия Нагибина вызвал настоящий скандал в литературном мире. Такое о своей личной жизни и тем более о живущих и здравствующих людях мало кто решался опубликовать. Евгений Евтушенко отозвался на это в 2005 году строками стихотворения «Белла Первая»:

Он любил тебя, мрачно ревнуя,
И, пером самолюбье скребя,
Написал свою книгу больную,
Где налгал на тебя и себя.

Что же такое было в этом дневнике, вызвавшем столь бурную реакцию? «Нагибин успел перед смертью сдать в печать свой дневник, где вывел Беллу Ахатовну под неслучайным псевдонимом Гелла, – вспоминал Дмитрий Быков, – и мы узнали о перипетиях их бурного романа… И хотя в дневнике Нагибина полно жутких, запредельно откровенных подробностей… пьяная, полубезумная, поневоле порочная Гелла у Нагибина – неотразимо

привлекательна, даже когда невыносима…

Гелла – это не только созвучное Белле имя. Гелла – подруга Воланда, и судя по содержанию «Дневника» Юрия Нагибина, как мне кажется, «московские» страницы «Мастера и Маргариты» вызывали в воображении Юрия Марковича некие параллели».

Как у Евтушенко страницы автобиографии, посвященные Белле Ахмадулиной и их любви, похожи на стихи в прозе, так и у Нагибина это не просто записи в дневнике, это роман, «песнь песней царя Соломона», выплеснутая на бумагу откровенная страсть:

«Меня вызвали в Ленинград. Мы уговорились, что она приедет ко мне, но перед самым моим отъездом поссорились. И всё же, я верил, что она приедет ко мне. Когда поезд отошел от перрона, я запер дверь купе, в котором был один, и начал молиться. Последние годы я обременял Бога только маленькими поручениями: «сделай так, чтобы в коробке осталась хоть одна негорелая спичка», «сделай так, чтобы бензина хватило до дачи», «сделай так, чтобы мне подали карский шашлык»… Давно прошло то время, когда я вымаливал людям, животным и растениям долголетье, счастье, прочность, когда я был наместником Бога и смело ходатайствовал перед Ним за всех маленьких на земле. У меня не убавилось веры в Бога, убавилась лишь вера в его всемогущество. Я бы не стал молиться, если бы не знал, что она приедет. Я верил в нее, и просил Бога не о многом: только помочь, только проследить, чтобы случайное недоразумение не помешало ей. «Миленький Боженька, сделай, чтобы она достала билет на завтра! Миленький, любименький Боженька, сделай, чтобы она достала билет на «Красную стрелу», на «Стрелу», не на дизель, одно мягкое место в «Стреле» даруй ей, милый Боженька!.. И чтобы она не опоздала на поезд, прошу тебя, миленький, любимый Боженька!.. Пусть дежурит Володя Готвальд, миленький Боженька, тогда такси придет вовремя, сделай, чтобы дежурил Володя Готвальд!»…

Она думала, что я не ждал ее. А я так ждал, и так готовился! Самое трудное было не позвонить, не дать ей этот единственный шанс к неприезду. Я принял меры и вечером предоставил свой номер двум подонкам и двум проституткам. Пока они пили, бесчинствовали и по очереди бегали в ванну, я сидел у телефона и щемяще чувствовал поэтичность черного лакированного ящика с черным, некрасиво извивающимся шнуром. Он через минуту мог дать мне ее голос. А этого нельзя, нельзя подсказывать судьбе. Ты приедешь, обязательно приедешь, если я буду тих, нем и покорен твоему выбору, твоему решению. Ровно в полночь телефон потерял свою власть надо мной, ты была в пути.

Теперь я стал строителем. Я построил для нее Зимний дворец и всю набережную, Биржу и Кунсткамеру, Казанский собор и Гостиный двор, Петропавловскую крепость и Адмиралтейство, я так просто и сильно возвел здание Академии наук, чтобы по утрам его гладкие стены принимали на себя всё солнце, я перекинул мосты через Неву и Фонтанку, поставил Ростральные колонны и Александрийский столп, в расчете на его тяжесть ничем его не укрепив, чтобы только удивить ее; каждый парк я обнес решеткой, перебросил арки там, где дома мешали прорыву улиц к площадям. Я пренебрег только окраинами, потому что ей было не до них. Я так тщательно, кропотливо, широко и нежно создавал для нее город, что мне едва хватило ночи, и когда утром раздался стук в дверь, я открыл ей непроспанный, усталый, мятый, растрепанный, каким и бывает строитель, только что уложивший последние кирпичи.

Напрасен был мой ночной труд. Город оказался нам почти не нужен. К чему пышные декорации, для нашего накала достаточно просто сукон. К чему был Медный всадник, коль она была и Петром, и конем, и змеей под его копытом. Нам нужны были лишь мы сами да площадка – мой дочерна прокуренный номер, да зрители: пусть безотчетно, но мы сознавали, что являем собой зрелище – их в избытке оказалось с первого же дня. Помню, мне так нужно было заплакать в этот первый наш день. Заплакать оттого, что всё свершилось, что она приехала, что Бог ничего не напутал, лишь вместо мягкого дал ей жесткое место, заплакать, чтобы откупиться от судьбы, да не прервет она начавшегося, но я умею плакать, лишь когда гибнут мои собаки. Я стыжусь слёз, как громкой или слишком откровенной фразы. Я придрался к смерти Фатьянова – и разрыдался во всю грудь. Я плакал над собой и над нею, и оттого, что нам хорошо сейчас, и что никогда больше не будет так хорошо, будет лучше, будет хуже, но так не будет.

Наши наивные попытки выйти за очерченный круг ни к чему не приводили. Зачем-то нас занесло в «Эрмитаж». Я дурачился и строил рожи среди картин, ваз, доспехов, гобеленов, от радости, что впервые могу не восхищаться, не изумляться, не подавляться назойливым преизбытком великих творений. То, что шло об руку со мной, живое, теплое, смеющееся над моим ломаньем совсем детским, тоненьким смехом, было настолько совершенней, бесконечней, увлекательней, что виртуозная мазня вокруг была мне, как здоровому лекарство. И глядя на обесцветившихся Матиссов и Гогенов, на Марке и Писсарро, утративших поэтичность, на мясную лавку фламандцев, где туши Рубенса отличаются от туш Снейдерса лишь тем, что они не освежеваны, на Ван Дейков, лишившихся печали, на беззубого Брейгеля и

полинявшего Веронезе, я думал: вы вернетесь ко мне, когда минет моя пора и удача.

Меня тронула лишь Мадонна Литта, потому что в наклоне ее головы мне почудился на миг знакомый наклон, я задержался взглядом на Данае, вернее, на ее руке, лежащей на подушке, потому что так вот, локтем в подушку, тянется по утрам ее рука к ночному столику за сигаретами.

«Эрмитаж» был последним нашим отвлечением. Мы поняли, всё это нам ни к чему, мы здесь лишь друг для друга, и наглухо отгородили себя от города с его красотами густой табачной завесой, ослеплявшей всякого, кто переступал порог моего номера.

Мы были тут, чтобы любить. И мы любили с таким доверием и близостью, словно родили друг друга, с ревностью, ненавистью, с боем, с чудовищными оскорблениями и обвинениями, с примирением, лучше которого ничего нет, с непрощением и всепрощением. Мы говорили ужасные слова в глаза друг другу, мы били друг друга только по лицу, мы лгали, но только чтобы причинить боль, потому что правда давала нам счастье, ничего, кроме счастья, и каждую ночь, рядом или поврозь, мы снились друг другу.

Мы были во всем равны друг другу, лишь в одном я был удачливей и богаче. Достоевский не читал Достоевского, Чехов не мог читать Чехова, Марина Цветаева никогда не знала горькой радости стихов Цветаевой, ты не знаешь, каково обнимать тебя, касаться твоих легких волос и, наполняясь горячей, туго рвущейся из оков жизнью, отдавать тебе эту жизнь, и счастья полной опустошенности, когда так легко не быть, потому что собственное бытие обрело куда более прекрасное вместилище – тебя, ты не знаешь.

Как многому научила она меня за эти короткие ленинградские дни. Я узнал, какое счастье в умалении себя перед любимой, какое счастье быть в тени любимой, чтобы всё солнце, весь свет падали на нее одну. Не царем царицы быть, принцем-супругом ее величества, мужем лишь для опочивальни, а не для совета, не для соправления, не для разделения власти. Я так гордился, так восхищался ею, когда в битком набитом номере она читала свои стихи нежно-напряженным, ломким голосом, и любимое лицо ее горело, – я не отважился сесть, так и простоял у стены, чуть не падая от странной слабости в ногах, и мне счастливо было, что я ничто для всех собравшихся, что я – для нее одной…

…Что было еще? Ночь в купе на обратном пути. Мы спали в такой тесноте объятия, в такой взаимной проникновенности, что

были подобны сложенному перочинному ножу, каждый из нас был лезвием и ручкой одновременно.

Вот она мелькнула росчерком своей и девичьей, и женской фигуры в заснеженных кустах возле колодца, а вон она на ветке с московками и снегирями, вон прямо из сугроба улыбнулось ее скуластое, милое, нежное и вызывающее лицо. Ничего мне не поможет. Она проникает в комнату, ее так много, и это многое так властно, что сразу становится всем: столом, креслом, радиолой, тахтой, игрушечной заводной собачкой, и другой собачкой, незаводной, листом бумаги, карандашом и моей пишущей ручкой, мне некуда деваться от нее, и я опять плачу».

Сила этой страсти поражает воображение. Это действительно «песнь песней» – кажется, со времен Соломона никто не писал о своей любви так откровенно и так пылко. Трудно представить, как Нагибин вообще решился издать свой дневник, сделать свои самые интимные мысли и чувства достоянием всего света. Впрочем, его жизнь тогда уже подходила к концу (и издание получилось посмертным), возможно, он понимал, что его отношения с Ахмадулиной – уже часть истории современной литературы. А возможно, в нем говорила писательская гордость, и ему просто хотелось, чтобы люди прочитали то, что он когда-то написал буквально кровью собственного сердца.

Дочь Беллы Ахмадулиной, Елизавета Кулиева, говорила: «Уже взрослым человеком прочитав «Дневник» Юрия Нагибина, я узнала о маме много нового. Кажется, они очень много значили друг для друга.

Все, что я знаю об их отношениях, это результат моих изысканий и даже в чем-то, возможно, плод моего воображения. Они были совершенно разными людьми. Нагибин – интеллектуал, крепко стоящий на ногах. Здравомыслящий, но при этом невероятно образованный, влюбленный в культуру, открывший маме мир, о котором ей не рассказывали в Литинституте. Трудяга, хозяин большого дома, настоящий барин. А мама была совершенным эльфом. Ее чистый гений соединился с его умом – и получился идеальный человек».

Жизнь Беллы Ахмадулиной – роман, но трудно представить автора, у которого хватит такта и смелости написать такую книгу. Впрочем, она уже несколько раз бывала героиней чужой прозы: Евгений Евтушенко описал ее в романе «Не умирай прежде смерти» (многим запомнилась пронзительная сцена совместного вымаривания клопов в одну из курортных ночей 1957, кажется, года), а Юрий Нагибин под именем Геллы вывел в своем дневнике, стоящем, думаю, нескольких романов. Евтушенко

пишет с ностальгией и любовью, Нагибин – со страстью, переходящей в ненависть (ненависть ему вообще очень удавалась), и у Нагибина героиня, конечно, ярче, выпуклее. Тут и презрение к смерти – он замечает в самолете, что, если самолет начнет падать, все побегут спасаться, а она нет.

Дмитрий Быков, писатель.

Временами на страницах дневника страсть Нагибина переходит почти в ненависть, когда он набрасывается на возлюбленную с упреками, которые не сможет сказать ей в глаза, потому что лицом к лицу он забывает обо всем: «А ведь в тебе столько недостатков, – зло пишет он, припоминая ей и то, что она еще чужая жена, и все слухи, что о ней ходят. – Ты распутна, в двадцать два года за тобой тянется шлейф, как за усталой шлюхой, ты слишком много пьешь и куришь до одури, ты лишена каких бы то ни было сдерживающих начал, и не знаешь, что значит добровольно наложить на себя запрет, ты мало читаешь и совсем не умеешь работать, ты вызывающе беспечна в своих делах, надменна, физически нестыдлива, распущена в словах и жестах. Но ты не кинешься в хвост самолета! И я не кинусь, но лишь от слабости, которая отвратительнее всякой паники, в той хоть есть звериная правда действия».

И тут же злость сменяется честным признанием своего бессилия перед этой женщиной: «Самое же скверное в тебе: ты ядовито, невыносимо всепроникающа. Ты так мгновенно и так полно проникла во все поры нашего бытия и быта, в наши мелкие распри и в нашу большую любовь, в наш смертный страх друг за друга, в наше единство, способное противостоять даже чудовищному давлению времени, ты приняла нас со всем, даже с тем чуждым телом, что попало в нашу раковину и, обволакиваемое нашей защитной секрецией, сохранить инородность, не став жемчужиной.

Ты пролаза, ты и капкан. Ты всосала меня, как моллюск. Ты заставила меня любить в тебе то, что никогда не любят. Как-то после попойки, когда мы жадно вливали в спалённое нутро боржом, пиво, рассол, мечтали о кислых щах, ты сказала с тем серьезно-лукавым выражением маленького татарчонка, которое возникает у тебя нежданно-негаданно:

– А мой желудочек чего-то хочет! – и со вздохом: – Сама не знаю чего, но так хочет, так хочет!..

И мне представился твой желудок, будто драгоценный, одушевленный ларец, ничего общего с нашими грубыми бурдюками для водки, пива, мяса. И я так полюбил эту скрытую жизнь в тебе! Что губы, глаза, ноги, волосы, шея, плечи! Я

полюбил в тебе куда более интимное, нежное, скрытое от других: желудок, почки, печень, гортань, кровеносные сосуды, нервы. О легкие, как шелк, легкие моей любимой, рождающие в ней ее радостное дыхание, чистое после всех папирос, свежее после всех попоек!..»

Белла – совершенно гениальный человек, прекрасная поэтесса. Отношения Юры и Беллы касались только их двоих. В дневнике Юра написал об их любви замечательные строки. В Америке в «Русском слове» я напечатала этот кусок из его дневника. Это, может быть, одна из лучших страниц прозы о любви в русской литературе. Бесконечно и с восторгом перечитываю эти строки о великом счастье любить. Двое красивых, талантливых, гордых встретились и полюбили – это же чудо. Я всегда уважала искренние чувства двоих…

Удивительно, при всей бурной молодости Юра сохранил чистоту. Мы встретились с ним зрелыми людьми. Меня потрясло, насколько он оставался целомудренным. Хотя за ним всегда следовал шлейф романов, но он оставался скромен и неразвращён… Его поступки были непредсказуемы. Порывы переполняли его. Он не был блестящим кавалером. Он человек искреннего порыва. Настоящий мужчина: и любовник, и работяга, и охотник.

Он был невероятно дисциплинирован. Работал у себя в кабинете, на втором этаже. Вставал в семь, делал зарядку, в восемь спускался вниз, и на столе должен был стоять завтрак: геркулесовая каша на воде, три абрикосины, два расколотых грецких ореха и чашка кофе. Если это было готово в четверть девятого, он рвал и метал. Если обед запаздывал, и того хуже…

Алла Нагибина, шестая жена Юрия Нагибина.

Страсть к Ахмадулиной доводила Нагибина до исступления, и не только потому, что ему физически тяжело было находиться вдалеке от нее, но еще и потому, что вся его жизнь полетела кувырком. Он был дисциплинированным и организованным человеком, много работал, его день был расписан чуть ли не по минутам. И вдруг все изменилось. Какая работа, какие могут быть дела, когда все мысли и чувства заняты только этой безумной страстью.

«Как ты утомительно назойлива! – негодовал он. – Вот ты уехала, и свободно, как из плена, рванулся я в забытое торжество моего порядка! Ведь мне надо писать рассказы, сценарии, статьи и внутренние рецензии, зарабатывать деньги и тратить их на дачу, квартиру, двух шоферов, двух домработниц, счета, еду и

мало ли еще на что. Мне надо ходить по редакциям, и я иду, и переступаю порог, и я совсем спокоен. Здесь всё так чуждо боли, страданию, всему живому, мучительно человечьему, всё так картонно, фанерно, так мертво и условно, что самый воздух, припахивающий карболкой и типографским жиром гранок, целебен для меня. Еще немного – и тревожная моя кровь станет клюквенным соком, и я спасен. Но ты пускаешь в ход свой старый и всегда безошибочный трюк. Ты выметываешь из-за стола толстое, сырое тело редакционной секретарши своим движением, с циничной щедростью ты даришь ей свою грудь с маленькой точкой, алеющей в вырезе – не то родинка, не то следок папиросного ожога, – и всё идет к черту!

До чего же ты неразборчива! Тебе всё равно, чье принимать обличье. Дача, окно в закате, оранжевый блеск снега, лоток с пшеном и семечками, выставленный для птиц, и поползень висит вниз головой, и снегирь то раздувается в шар, то становится тоненьким, облитым, и чечетки краснеют грудками и хохолками, и лазоревка надвинула на глаза голубой беретик. Но вот, вспугнув всю птичью мелочь, на лоток сильно и упруго опускаешься ты большой красивой птицей, измазавшей о закат свое серое оперение. Не розовая, розовеющая, ты принесла на каждом крыле по клочку небесной синевы. Ты поводишь круглым, в золотом обводье, глазом, клюв бочком, клюешь зерно, прекрасная, дикая и неестественная гостья в мелком ручном мирке нашего сада.

– Сойка! – грустно говорит мама, и она догадалась, что это вовсе не сойка.

Всё вокруг лишилось своей первозданности, всё стало отражением тебя, видится через тебя, ощущается через тебя, всё полнится не своей, а твоей болью: и смертельная болезнь, и жалкость родных существ, и звери, и птицы, и вещи на письменном столе. Как это утомляет, как обессиливает – ежечасно, ежеминутно натыкаться на тебя!

О, не дели участи обреченного, не смотри зелеными глазами моей матери, не лижи меня тонким Кузиным язычком, не всплывай нежными скулами со дна каждой рюмки, оставь зерно под моими окнами сойкам, синицам, снегирям, не вселяйся в людей и животных, изыди из окружающих меня вещей. Раз уж ты ушла, то уйди совсем. Это же бесчестно, наконец!.. Словно для тебя существует честное и бесчестное, словно для тебя существуют правила игры. Ты играешь с открытыми картами, это высокая игра – я знаю, – но она так же сбивает с толку, как шулерство. Карты к орденам! Довольно, учись нашей общей, маленькой человеческой игре…»

Ахмадулина всегда была такая, в вуалетках, с мушкой на щеке, экстравагантная. На вечера она приезжала на автомобиле… Она тогда была женой Юрия Нагибина, и он возил её на своём автомобиле. На ней была куртка из телёнка, на ногах у неё были модные туфли на микропорке. В общем, она была красавица, богиня, ангел. Я очень любила её стихи. Признавала её превосходство надо мной и её первенство. И думала, что мне во всем до неё далеко…

Римма Казакова, поэтесса.

Ахмадулина с Нагибиным прожили вместе больше семи лет, и это были яркие, но очень непростые годы. В своем дневнике он очень мало об этом упоминает, а Ахмадулина, как известно, вообще почти не говорила о своем прошлом и бывших мужьях. Но о многом можно догадаться даже по косвенным свидетельствам и короткой записи в дневнике Нагибина: «Я виделся со множеством корреспондентов и разного рода приезжими людьми, но, за ничтожным исключением, их интересовала Гелла, а не я. Ярко вспыхнула Геллина звезда, но замутилась поднявшимся со дна болот гнилостным смрадом».

Геллой он стал называть Беллу Ахмадулину. Не сразу – поначалу в его дневнике описана безымянная возлюбленная, прекрасная, ужасная, пугающая его, но без которой невозможно жить. Потом его тон при упоминании ее становится все резче, хотя заметно, что любовь и не думает угасать, и он дает ей имя – Гелла. Как у булгаковской спутницы Воланда, что уже само по себе о многом говорит.

«Ее отношения с Нагибиным – тема для отдельного разговора, – рассказывала Елизавета Кулиева. – Маститый советский писатель, успешный сценарист, имеющий все, о чем только можно мечтать, но немолодой и, наверное, ужасно уставший от вранья… И вдруг – мама, уже знаменитая, но еще совсем юная, не признающая компромиссов, немного потерянная и всегда одинокая, бездомная по определению».

Они оказались в странной и не слишком приятной для Нагибина ситуации. Он был человеком очень состоятельным, много писал, зарабатывал много денег. Его издавали за рубежом – с соизволения советских властей, по его сценариям выходили фильмы. То есть, у него были все возможные материальные блага, и даже когда он попадал в опалу, и его фильмы запрещали – как это было с легендарным «Председателем», это все равно было ненадолго и почти не сказывалось на его положении и благосостоянии.

А Белла Ахмадулина была звездой. Она блистала в стане «шестидесятников», ее собирались послушать толпы народу, в нее влюблялись все вокруг, и недовольство официальной критики только увеличивало ее популярность.

Денег это практически не приносило, она была знаменитой, но бедной, и широко жила только за счет Нагибина. У нее самой практически ничего не было, все – квартиры, машины, дачи, заграничная одежда и т. д. – было заработано им. А слава была у нее. И журналисты приходили брать интервью у нее.

Такая ситуация не могла не вызывать напряжения. Ахмадулиной, возможно, было все равно – она всегда легко тратила деньги, как свои, так и чужие, не стесняясь пользовалась любыми материальными благами, но если те вдруг заканчивались, так же легко обходилась и без них. А вот Нагибину приходилось тяжело. Всегда нелегко быть мужем звезды, а уж талантливому человеку, которому рядом с ней всегда приходится ощущать себя недооцененным, – особенно. «Две личности такого масштаба, наверное, просто не помещались под одной крышей», – сказала об их браке Елизавета Кулиева, и, вероятно, она была права на сто процентов.

Ни одного опасного жеста Ахмадулина не сделала ни разу. Да и образ этого не предполагал. Она делала вид, что парит над схваткой. Ее романы и браки обсуждались даже горячей, чем ее новые стихи, потому, что она была суперзвездой и секс-символом своего времени – смесью изящной восточной царевны с московской аристократкой. За чистоту стиля и жеста ей прощали все – и поклонники, и власть.

Мария Арбатова, писательница, драматург, телеведущая.

Но было в их браке и то, что очень сильно раздражало саму Беллу Ахмадулину. Нагибин был очень привязан к своей матери, находился под большим ее влиянием, и жили они все трое в одном доме. Типичная ситуация, но от того не менее печальная и драматичная. Как говорится, на одной кухне не может быть двух хозяек. И, конечно, хозяйкой осталась мать Нагибина, а Белле Ахмадулиной досталась роль гостьи, если не сказать – приживалки. По крайней мере, именно так она себя чувствовала, и это не лучшим образом влияло на ее характер и отношения с мужем. В дневнике Нагибина не раз мелькают раздраженные комментарии о ее злоупотреблении алкоголем, и вряд ли эта пагубная привычка у нее развилась просто так. С чего бы настолько напиваться такой молодой, красивой, успешной, популярной и любимой мужем женщине? Точно не от большого

счастья в браке. Мать Нагибина не одобряла их образ жизни, знакомые вспоминали, что она говорила о сыне и невестке, отправляющихся на какие-нибудь вечеринки: «Уезжают два красавца, приезжают две свиньи!» Отношения провоцировали дурные привычки, те в свою очередь провоцировали ухудшение отношений – замкнутый круг…

А потом у нее случился срыв, который почти разрушил их союз. «Вот оно и пришло, – писал Нагибин, – самое скверное, самое страшное. Я не знаю, что там было, может быть, не так уж много, может быть, совсем немного. Но коль пусть даже такое возможно при мне, что же делали с этой несчастной женщиной, когда меня не было рядом, а она была так же пьяна? Каким стыдом, позором овеяна вся моя жизнь с ней?

Я никогда не думал, что мне будет так больно. Конечно, я ее любил и люблю, как не любил никого, и теперь мне придется жить без нее, и я не понимаю, как это будет. На сердце такая тяжесть, что впору кричать. Недавно я считал себя самым счастливым человеком на свете, хорошо хоть, что я знал это. Уж никогда не будет мне так полно, так интересно, так упоительно, как было с ней. Есть хорошие женщины, их не так мало, есть даже очень хорошие и трогательные женщины, но всё это не идет в сравнение с ней. Она прекрасно и страстно говорила. Она была очень похожа на меня, даже в пороках, и я всегда понимал, что с ней происходит, хотя из педагогических соображений порой делал вид, будто чего-то не понимаю. Ее вранье не было враньем в обычном смысле слова, ей хотелось быть такой вот чистой, преданной, высокой, жертвенной. Она не была ни чистой, ни верной, ни жертвенной; дурное воспитание, алкоголизм, богема, развращающее влияние первого мужа, среда ли изуродовали ее личность, но ей хотелось быть другой, и она врала не мне, а себе, когда с пафосом уверяла меня в своей непорочности в отношении меня.

Это ужасно, то, что случилось, по невыносимой вульгарности, плоской грубости. Как справлюсь я со всем этим, да и справлюсь ли?

Почему все виды унижений выпадают мне на долю? Литературные, общественные, а вот теперь и личные?

Хорошо, что разбил ей лицо, хорошо, что разбил голову бутылкой Л., по крайней мере, во мне хоть нет раздавленности. А в остальном – страшно, страшно. Нет желания жить. Всё стало ненужным: дача, фильмы, книги, деньги, строительство. Полное банкротство. И странно, у меня нет настоящей злобы ни к Л., ни даже к ней. Жалость есть. Ей будет плохо, хуже, чем мне, она вконец опустится и погибнет.

Быть может, я должен был пройти мимо этого, ведь я отвечаю за нее. И я бы поступил так, если б был уверен, что это – от силы, а не от слабости. Ибо в первом случае жизнь могла бы наладиться, а во втором – полный раздрызг.

Что же делать? Может, постараться провести этот новый мучительный бой за себя с достоинством, пережить это со всей болью, без самообмана и ложного самолюбия, но и без соплей, без жалких поступков, чтобы, не стыдясь, вспомнить потом о самом тяжком периоде моей жизни?

Сегодня всё еще хуже. Пошел гулять по обычному маршруту, но от всего – чудовищная боль. Желтый лес, навстречу идет стадо: коровы, овцы. Пастух тащит кнут по земле. Пролетели два стареньких сельскохозяйственных самолета. А из глаз точит и точит. Я, действительно, потерял то, что делало меня счастливым. Это не потеря женщины, все они взаимозаменимы, все, кроме одной-единственной. Очень редко бывает, что человек находит эту единственную женщину, но вот тогда-то потеря так страшна и невыносима, что хочется орать…

…А что если она и впрямь душевнобольная? Ну и пусть живет рядом: больная, сумасшедшая, гниющая заживо. В редкие моменты ее просветления я все-таки буду счастливей, чем в светлой, трезвой, распрекрасной жизни с другой женщиной.

Если сходятся люди, которые любят друг друга, то у них всё должно быть на жизнь и смерть, и нет такой вещи, которой нельзя было бы простить. Я чувствовал ее как часть самого себя, вернее, как продолжение себя. Совершенно естественно, что это продолжение должно быть наделено всеми моими отвратительными качествами: распутством, распущенностью, склонностью к оргиям и к пьянству, особой бытовой лживостью при какой-то глубинной правдивости натуры, гибельностью, неумением быть счастливым».

Нагибин ее простил, и их брак продержался еще три года. Хотя продержался ли? Все это время их отношения уже медленно и мучительно умирали. Было ясно, что они не подходят друг другу, но сила чувств все еще была такой, что расстаться было больнее, чем продолжать жить, мучая и ненавидя друг друга.

«Восемь лет вместе (правильнее сказать, семь) – это большой срок, – говорила Елизавета Кулиева. – И в этом союзе, думаю, Нагибин, как ни странно, дал маме даже больше, чем она ему. Не представляю, как мама вырвала его из сердца, но из «Дневника» мы знаем – это было болезненно для обоих.

Мне все равно, что о них говорят. Понимаете, это были люди из параллельного мира: они другими ценностями жили – не дубленками и дефицитом (хотя с этим у Нагибина все было в

порядке), а Буниным и Прустом. Даже смешно обсуждать, кто с кем спал и бил ли кто-то кого-то по лицу, кто что кричал при расставании. Для меня они – небожители. Оба. И каждый, кто читал «Дневник», может только тихо оплакивать их любовь. Они умирали, когда расходились. Мама пачками присылала ему стихи, он сходил с ума… Но, видно, так уж было им предначертано. Все обидные вещи, которые в своей книге Нагибин написал о маме, следствие слишком болезненного разрыва и потому простительны. Мама тоже его не щадила: уходя, обозвала «советской сволочью». И в чем-то, наверное, была права. Но градус чувств был таким, что и эти жестокие слова можно понять.

В «Дневнике» о маме было сказано много обидного. Но, к чести Нагибина, там нет ни слова лжи: «…она никого не любит, кроме – не себя даже, – а производимого ею впечатления». Если вдуматься, это очень точно характеризует большого поэта. Героя. Великого ученого. Служение идее – это и есть служение образу. Образу благородного рыцаря. Идеального самурая. Это позволяет поэту и герою быть смелым, когда другие прячутся за спины женщин. Конечно, на словах это выглядит немного театрально, но как иначе заставить себя броситься на амбразуру? Здравый смысл просто не позволит этого сделать.

И вот тут Нагибин с мамой разошлись. Жертвуя всем, она служила образу идеального поэта, совершала бесстрашные поступки и много хорошего написала. А он следовал голосу разума. И все-таки Юрий Маркович был особенным человеком. Личностью, колоссом. И доказал это своим «Дневником». А что там про них в сериале показывают – просто неважно. Да и то, что написал Аксенов, – тоже…»

Уважение, почтение рождало то удаленное почитание, ту дистанцию, которая очищала чтение, избавило меня от наблюдений за поэтом Ахмадулиной, оставило меня с ее стихами, которые как старый священный текст: можно читать с любого места, помнить основные заповеди – и того довольно. Ее формальные достижения не так уж велики, арсенал орудий предельно мал, свойственное ее поэтическому поколению многословие вплоть до пустозвонства практически миновало ее. В каком-то смысле она не была ярким поэтом, особенно с годами она писала под стать своей одежде – непросто-черные наряды, не придерешься, но и не пройдешь.

Достоинство, высокое достоинство иноверца в русской литературе; обидная, полная недорогих соблазнов, роль женщины в мужской гортанной речи; прямолинейное, но многотрудное,

очевидное мастерство – вот каким примером и заветом сегодня видятся мне ее строки. И мне кажется важным, чтобы кто-нибудь этот завет исполнил, прочел, и нам бы простилось, что мы невнимательно, небрежно в последние годы читали ее при жизни.

Демьян Кудрявцев, медиаменеджер, предприниматель, поэт и прозаик.

Однако какие бы ни были противоречия между Юрием Нагибиным и Беллой Ахмадулиной, как бы они друг друга ни мучили, их брак мог проскрипеть еще достаточно долго, потому что сил расстаться у них не было. Но в 1967 году он все-таки рухнул – с шумом, грохотом, скандалом, всколыхнувшим советскую богему и ставшим надолго поводом для пересудов.

Что же произошло? Нагибин в своем дневнике обошел этот вопрос. А может, у него просто рука не поднялась записать все, что он тогда чувствовал. Он ограничился короткой ремаркой: «Рухнула Гелла, завершив наш восьмилетний союз криками: «Паршивая советская сволочь!» – это обо мне». И снова вернулся, упомянул жену, которую уже перестал считать женой, только через какое-то время – с тоской, злостью и все еще не прошедшей любовью: «А Геллы нет, и не будет никогда, и не должно быть, ибо та Гелла давно исчезла, а эта, нынешняя, мне не нужна, враждебна, губительна. Но тонкая, детская шея, деликатная линия подбородка и бедное маленькое ухо с родинкой – как быть со всем этим? И голос незабываемый, и счастье совершенной речи, быть может, последней в нашем повальном безголосьи – как быть со всем этим?»

Но такой громкий развод, естественно, вызвал слишком много пересудов, и несмотря на молчание обеих сторон, причины и все пикантные подробности вскоре стали широко известны. В биографиях Ахмадулиной причиной развода уклончиво названы ее «смелые сексуальные эксперименты». Василий Аксенов в своей книге «Таинственная страсть» был более многословен:

«На Черняховской он открыл своим ключом дверь, шагнул внутрь и тут же вылетел обратно на лестничную клетку. Жителю дачи запах городской квартиры показался невыносимым и противопоказанным, хотя ничего особенного в нем не содержалось: ну, чрезмерные духи, ну, чрезмерный кофе, чрезмерный никотин, чрезмерный коньяк, ну, чрезмерное в воздухе и под пледами скопление маленьких самолетов-соломонов. Вторая попытка пройти через ад оказалась успешной. Он достиг гостиной и игриво позвал: «Аххо, Аххо, Аххо!»

Ответом было молчание, слегка нарушаемое волнующим женским храпцом. Он шагнул в спальню и остолбенел, как жена

Лота. При полном освещении на супружеской кровати, словно последние беженки Содома в живописных позах возлежали три женских тела. Члены их переплелись, образуя сущую лиану раннего модерна. Власы их простирались по подушкам, будто разбросанные ураганом любви. Очи их были закрыты и как будто бы навеки, если бы не легкий волнующий храпец, исторгаемый одной из них; какой неведомо. Перед ним лежали во всем бесстыдстве три трудноотразимых: Татьяна, Екатерина и родная супруга Нэлла, с которой еще совсем недавно, в начале родства, по ночам на даче они танцевали вальсы; так чисто, так невинно!

Далее произошло нечто несопоставимое с довольно высоким уровнем культуры и интеллекта Марка Аврелова, сумевшего даже в хлеву социалистического реализма утвердить порядочный стиль и даже проблески юмора – его обуял амок! Взревев, он понесся по спальне, с грохотом отбрасывая предметы мебели и с треском распахивая окна. Пусть воздух трудовой Москвы ворвется в это гнездо разврата! Грязнейшие выхлопы трудовой Москвы чище вашей тлетворной парфюмерии, сучки и мерзавки! Убирайтесь из моего трудового дома! Убирайтесь навсегда! Нэлка, засранка, зассыха, чесотка, развратом своим и лесбиянством ты осквернила свой великий талант кристальной чистоты! Вон из моего дома! Навсегда! Ты разрушила наш союз творческих пчел! Испохабила все вокруг своими маленькими соломонами! Пускай чекисты придут и выскребут своими когтями все плевелы вашего декаданса, гадины, лесбиянки! Все – вон! Танька и Катька, убирайтесь вместе с Нэлкой! Навсегда! Пусть ваши мужья и хахали ищут вас в кругах Дантова ада! Нэлка, я разрываю наш брак! Я собиратель и нравоучитель, я пчела, а ты трутень разврата – вон! Тащись со своими мегерами на проститутский вокзал и далее – в лепрозорий Двадцатого века!

В общем, вот так. Он распахнул все двери и долго выкидывал на лестничную площадку всякий одежный хлам вкупе с распахнутыми чемоданами, а дамы, слегка дрожа, но высоко держа оскорбленные подбородки, кто в легких пеньюарах, а кто и просто в банной простыне, сидели на ступеньках, ожидая, когда затухнет беснование. Наконец оно затухло, но вместе с тем захлопнулась и дверь квартиры. Тогда они поняли, что все получилось всерьез, тем более что из глубин квартиры стала разноситься песня «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»; соло, а капелла.

Жители Аэропортовской слободы в тот день с любопытством наблюдали, как из одного дома в другой через дорогу шествовали навьюченные две молодые дамы и одна девушка, известная населению по кинофильмам. Им помогал с чемоданами

участковый уполномоченный Скворцов, позднее назначенный на пост возле Норвежского посольства, что на Воровской, бывшей Поварской.

Оказавшись в старой квартире Тушинских (вскоре им предстоял переезд в новую, на Котельниках), дамы открыли бутылку лондонского «Бифитера» и приступили к серьезному разговору. Председательствовала Татьяна. Этот твой монстр отчасти прав. Мы живем как тунеядки. Ядим втуне. Или ядим тунца? Так или иначе, пьем, как лошади амазонок. Опьяняемся битвой с коблами, вернее человеческими жеребцами. С этим надо кончать. Нам надо влиться в народ, перейти к тяжелому ручному труду. Почему бы не стать нянечками в какой-нибудь грязной больнице, почему бы не выносить за неподвижными?

Я за, подхватила Аххо. Прямо ему дротиком в глаз! Хочу уехать в Тарусу и жить в избе. Ходить за скотиной. Утром на рынке предлагать творог. В чайной скорбеть о судьбе столетия. Говорят, что у тамошних шоферов удивительно голубые глаза.

Послушай, ты знала, что в нашей стране миллионы бездомных детей? Это огромная тайна большевиков. Дети переселенных народов кочуют в пустынных степях, вырастает дикарская раса. Мы как женщины века должны начать движение по усыновлению и удочерению несчастных. Пусть эти волчата почувствуют материнскую заботу. Я, например, готова им посвятить весь остаток дней».

Сколько в этом всем правды, а сколько художественного вымысла, никто не знает, Нагибин и Ахмадулина молчали, не подтверждая слухи, но и не опровергая их. Но последняя жена Нагибина, Алла, утверждала, что именно так все было и в реальной жизни, а одной из подружек, с которой он застал жену в постели, была Галина Сокол, которая позже стала супругой Евгения Евтушенко.

«Белла не хотела уходить от Юрия, – говорила Алла Нагибина. – За восемь лет совместной жизни они часто расставались, один раз перерыв в отношениях достиг года. Поэтому все считали: побесятся-побесятся и помирятся. Но Нагибин сказал: «Всё!»

Сказать-то он действительно сказал, но судя по дневнику, даже после всего случившегося выдирал он Ахмадулину из сердца с кровью. Тон его записей меняется от ненависти к жалости, от страсти к тоске, он жалеет и себя, и ее, и прошлое и их несбывшееся будущее. И даже заметно, что его не оставляла мысль, вдруг это не конец, и еще можно все вернуть: «Я расстался с Геллой. Даже если когда-нибудь мы вновь сойдемся, это будет не та Гелла, которую я сперва любил, потом любил и жалел,

наконец любил, жалел и ненавидел. Вернуться может лишь другая, похожая на нее женщина, но какой бы эта женщина ни оказалась, она всё равно будет хуже».

Мелькает в дневнике и упоминание о том, как все-таки эта история, о которой ни сам Нагибин, ни тем более Ахмадулина не стремились кому-либо рассказывать, вышла на свет божий. После разрыва он, естественно, быстро нашел себе новую женщину, с которой пытался излечиться от нездоровой страсти к бывшей жене, да и залечить израненное самолюбие. Но попытка оказалась неудачной.

Во-первых, в богемных кругах его новую подругу не приняли – частично потому что Нагибина и так многие осуждали за то, что он выгнал из дома такую необыкновенную и талантливую поэтессу, как Ахмадулина (то, что он выгнал ее не как поэтессу, а как жену, не все соглашались принимать в расчет), а частично за то, что она в отличие от Ахмадулиной была не совсем их круга, и в ней видели только расчетливую охотницу за богатым и знаменитым писателем.

Но это Нагибин бы пережил, он был достаточно сильной личностью, чтобы не обращать внимания на мнение посторонних. Но новая подруга злила и его самого. «Конечно, меня раздражали ее бестактности в отношении Геллы, вернее, в отношении меня в связи с Геллой, – вспоминал он. – Но вместе с тем это помогало мне побороть смертную тоску о Гелле. Я злился, а злость излечивает. И если б не Алла, я, верно, не порвал бы с ней даже после ее последнего, крайне неудачного и вульгарного рассказа о Геллином романе. И все же, она стала мне неприятна и вне связи с Аллой. Она причиняла мне боль и унижение своими бесконечными рассказами о Геллиной непорядочности, и в глубине души я знал, что когда-нибудь отомщу ей за это. Здесь я верен себе, ведь я почти всегда заставлял платить по счету. Мою боль, мою печаль, мое отчаяние она отравила унизительностью обмана, открыв его во всем объеме. Она превратила трагедию в фарс. Слишком уж она торопилась разделаться с памятью о Гелле».

Вероятно это и был основной источник, из которого все знакомые Ахмадулиной и Нагибина узнали подробности их разрыва.

А тон дневника Нагибина постепенно становится все печальнее: «Завтра иду разводиться с Геллой. Получил стихи, написанные ею о нашем расставании. Стихи хорошие, грустные, очень естественные. Вот так и уместилась жизнь между двумя стихотворениями: «В рубашке белой и стерильной» и «Прощай, прощай, со лба сотру воспоминанье». Но это не наша с ней жизнь,

это вся моя жизнь, ибо то, что было прежде, – лишь вступление, а что стало после – эпилог, который недолго продлится».

И на следующий день: «Сегодня ходил разводиться с Геллой. Она, все-таки, очень литературный человек, до мозга костей литературный. Я чувствовал, как она готовит стихотворение из нашей встречи-расставания. Тут была совершенная подлинность поэтического переживания, но не было подлинности человеческой. Говоря о своей жизни, Гелла несколькими штрихами нарисовала прелестный образ бедного домика, под кровом которого невесть как собрались малые, жалкие существа: выгнанный хозяевами кудлатый пес, зеленые попугайчики, случайно залетевшие из Африки, брошенная матерью девчушка, наконец, сама Гелла, оставленная мною. Последнее не говорилось впрямую, но подразумевалось в общем образном строе. И всё это бедное маленькое стадо не хочет умирать, цепляется за жизнь из последних силёнок, жадно открывает голодные ротики, требуя зернышек. Хрупкая семейка, которую ничего не стоит раздавить одним пальцем. Но ведь там, среди этих беззащитных существ, имеется и весьма защищенное существо – проныра К., умеющий отлично обделывать свои второсортные литературные делишки. Вот в чем ложь или, вернее, литературность Геллиного поведения. Я-то был по-настоящему взволнован, хотя и не изображал казанского сироту. Основа нашего с ней чудовищного неравенства заключалась в том, что я был для нее предметом литературы, она же была моей кровью».

Семья и быт

Ане

Сперва дитя явилось из потёмок
небытия.
В наш узкий круг щенок
был приглашен для счастья.
А котенок
не столько зван был, сколько одинок.

С небес в окно упал птенец воскресший.
В миг волшебства сама зажглась свеча:
к нам шел сверчок, влача нежнейший скрежет,
словно возок с пожитками сверчка.

Так ширился наш круг непостижимый.

Все ль в сборе мы? Не думаю. Едва ль.
Где ты, грядущий новичок родимый?
Верти крылами! Убыстряй педаль!

Покуда вещи движутся в квартиры
по лестнице – мы отойдём и ждём.
Но всё ж и мы не так наги и сиры,
чтоб славной вещью не разжился дом.

Останься с нами, кто-нибудь вошедший!
Ты сам увидишь, как по вечерам
мы возжигаем наш фонарь волшебный.
О смех! О лай! О скрип! О тарарам!

Старейшина в беспечном хороводе,
вполне бесстрашном, если я жива,
проговорюсь моей ночной свободе,
как мне страшна забота старшинства.

Куда уйти? Уйду лицом в ладони.
Стареет пёс. Сиротствует тетрадь.
И лишь дитя, всё больше молодое,
всё больше хочет жить и сострадать.

Дивно уже в ангине, только ожил
от жара лоб, так тихо, что почти –
подумало, дитя сказало: – Ёжик,
прости меня, за всё меня прости.

И впрямь – прости, любая жизнь живая!
Твою в упор глядящую звезду
не подведу: смертельно убывая,
вернусь, опомнюсь, буду, превзойду.

Витает, вырастая, наша стая,
блистая правом жить и ликовать,
блаженность и блаженство сочетая,
и всё это приняв за благодать.

Сверчок и птица остаются дома.
Дитя, собака, бледный кот и я
идём во двор и там непревзойдённо
свершаем трюк на ярмарке житья.

Вкривь обходящим лужи и канавы,
несущим мысль про хлеб и молоко,
что нам пустей, что смехотворней славы?
Меж тем она даётся нам легко.

Когда сентябрь, тепло, и воздух хлипок,
и все бегут с учений и работ,
нас осыпает золото улыбок
у станции метро «Аэропорт».

А что же за девочка, о которой пишут и Нагибин, и Аксенов? По словам Аллы Нагибиной, Ахмадулина долго надеялась, что сможет вернуться к мужу, а потом стала советоваться с Галиной Сокол, что предпринять. «Белла и Галя Сокол пошли в детский дом, – рассказывала она. – У них там была знакомая директриса. И она без всяких документов Гальке отдала мальчика, а Белке – девочку. Ахмадулина дала дочке Анне свою фамилию, а отчество – Юрьевна. Она надеялась, что с ребенком Нагибин ее примет обратно. Но этого не произошло».

История странная, тем более что всем было известно – Нагибин не слишком любил детей. Он не понимал, как можно работать в доме, где плачет маленький ребенок. За свою длинную жизнь он был женат шесть раз, но ни одна из жен не смогла уговорить его завести ребенка. А к тому времени как рухнул его брак с Ахмадулиной ему было уже под пятьдесят, и менять привычки он тем более не собирался. Так что неудивительно, что история с приемной девочкой, если она действительно была, и действительно с такой целью, на него не подействовала.

«Белле не удалось принести в его дом этого ребенка, – рассказывала Алла Нагибина. – Он сказал: «Даже ради него я жить с тобой не буду!» И никогда эту девочку не воспитывал. Где-то Белла с ней перекантовывалась».

О том, что старшая дочь Ахмадулиной, Анна, удочеренная, рассказывала, впрочем, не только Алла Нагибина. В дневниках Павла Антокольского, известного советского поэта и переводчика, который дружил с Беллой Ахмадулиной и покровительствовал ей, когда у нее бывали очередные неприятности, есть запись, что Белла удочерила девочку Аню и поселилась с ней в своей новой квартире на Аэропортовской. Журналисты, которые пытались сопоставить факты и даты, пришли к выводу, что видимо в августе она взяла из детдома ребенка, а в ноябре развелась с Нагибиным.

А одна из соседок Ахмадулиной по Переделкино

рассказывала, что когда-то, еще ребенком, была на дне рождения Лизы (Елизаветы Кулиевой, младшей дочери Ахмадулиной): «Старшая дочь Беллы, Аня, очень нам обрадовалась. И Белла нам обрадовалась. Была с нами очень ласкова. Играла, развлекала малышей, устраивала викторины, давала призы и конфеты. Потом я узнала из разговора взрослых, что Аня удочерена, Белла взяла ее из детдома, в ту пору это было большой редкостью».

Когда стало ясно, что разрыв с Нагибиным окончательный, Ахмадулина вдруг шокировала всех знакомых, неожиданно выйдя замуж за Эльдара Кулиева – сына балкарского классика Кайсына Кулиева. Он был студентом режиссерского факультета ВГИКа, моложе ее на четырнадцать лет[6]. Этот брак обычно называют самым загадочным в жизни Ахмадулиной, потому что никто толком не понимал, откуда взялся в ее окружении этот юноша и как вдруг так получилось, что она решила выйти за него замуж.

Мой папа Эльдар Кулиев – сын Кайсына Кулиева, известного балкарского поэта и замечательного человека. Он сценарист и режиссер, выпускник ВГИКа, снял несколько фильмов. Мой дедушка пользовался в стране настолько большим авторитетом, что перед его сыном, казалось, были открыты все двери. Думаю, это во многом предопределило его судьбу. Еще совсем молодым, толком ничего не успев, он женился на Белле Ахмадулиной. Такие отношения – настоящее испытание для мужского самолюбия…

…После развода родителей я долгое время не виделась с папой, но общалась с его отцом. Мама переводила стихи Кайсына, они дружили. Когда дедушка умер, мне не было и двенадцати. Последние годы он провел в Чегеме, в Приэльбрусье (там сейчас есть его музей), и в Москве был редким гостем. Тем не менее я успела очень его полюбить. Кайсын был прекрасен и навсегда стал для меня идеалом мужчины: с вечной широкой доброй улыбкой в кавказские усы, он казался воплощением жизнелюбия. Я любила его всем сердцем – как умеет любить только ребенок. Кайсын – личность, поэт, в лучшем смысле этого слова самородок. Он дружил и переписывался с Пастернаком. В Балкарии даже маленькие дети до сих пор произносят его имя с благоговением. А вот бабушку почти не помню, но чувствую, что она очень родной мне по духу человек. С отцом мы никогда не были близки, зато я поддерживаю связь с его братьями. Алим – актер и режиссер, давно живет в США. Азамат – художник, работает и преподает в Турции. Они очень важные люди в моей жизни, потому что для меня это связь с Кайсыном.

Елизавета Кулиева.

«Они жили в том же доме, на улице Черняховского, что и мы с Юрием, – рассказывала Алла Нагибина. – Я стала следующей женой Нагибина после Беллы, и мы с Юрой счастливо прожили тридцать лет. Он как-то признался: «Мне кажется, что до тебя ничего не было!» А Кулиев с Ахмадулиной очень много пили, она не сбавила темпов, даже когда родила дочку Елизавету. Однажды часа в три ночи Белла ко мне влетает и говорит: «Он меня убивает!» Я с ней иду туда, открываю двери: Эльдар, этот «убийца», лежит на овечьей шкурке, калачиком свернулся и спит. Кулиева в нашей компании называли «горный козел», он был простоват, и Белла с ним прожила недолго».

Конечно, стопроцентно верить этому рассказу не стоит, что-то имеет смысл списать на предвзятость – все-таки Алла Нагибина не питала особо теплых чувств к Ахмадулиной. Да и было почему – они с Нагибиным прожили почти тридцать лет, но она то и дело ощущала на себе недоброжелательные взгляды, потому что многие знакомые еще долго продолжали считать, что это он довел Ахмадулину до срыва и виноват в разводе. А кто был не особо в курсе, те и вовсе смотрели на Аллу как на разлучницу. Но, надо сказать, сама Ахмадулина с Нагибиным и его новой женой продолжала поддерживать доброжелательные отношения всю жизнь, как и с Евтушенко и его женами. Все-таки уж очень узок был их круг, все друг друга знали.

Хотя, конечно, не факт, что эта доброжелательность не была показной. Алла Нагибина вспоминала: «У Беллы, которая уже много лет жила с Мессерером, вдруг возник ко мне сильный интерес. Мы встретились на конференции в Италии, жили все в замке. И она все время меня тянула к себе: «Давай поднимемся, посмотришь мой номер»… Ее интересовало, что я собой представляю, если Юра прожил со мной тридцать лет. И что главное – после нее!»

Впрочем, если Ахмадулина и питала недобрые чувства к Алле Нагибиной, она это не демонстрировала. А что она думала на самом деле… да все знают, как относились женщины-поэты к просто женщинам, на которых их сменили бывшие мужья и возлюбленные. Лучше горячо любимой ею Цветаевой все равно никто не скажет:

Как живется вам с простою
Женщиною? Без божеств?
Государыню с престола
Свергши (с оного сошед),
Как живется вам – хлопочется –

Ежится? Встается – как?..

Юрий Нагибин в свою очередь тоже продолжал упоминать бывшую жену в своем дневнике. И хотя уже почти без злости, все же видно, что она, ее жизнь, ее отношения с новым мужем – все продолжает его волновать. Тем более что случилось невероятное – выяснилось, что она беременна, хотя после сделанного по настоянию Евтушенко аборта врачи сказали, что детей у нее не будет. «Вечер у симпатичной Геллы в предродовом балахоне на бесформенном теле, – пишет Юрий Нагибин. – Ее восхищение – искреннее – моим рассказом о Тютчеве. Странный мальчик Эльдар, пьющий водку из фужера. Неприкрытая бедность, которую не скрашивает подаренный мною старинный письменный столик. Гелла размягчена предстоящим материнством и все-таки немножко играет в беспомощность, нежность, какую-то всепрощающую любовь ко всем и вся. Надолго ли эта маска?..»

Материнство действительно смягчило Ахмадулину, терзавшие ее страсти пусть на время, но улеглись. В роддоме, где она в свои тридцать шесть была самой старшей, она была и самой спокойной. У нее было пять соседок по палате, которые все время ссорились и ругались по всяким бытовым причинам – как обычно была нехватка всего, даже пеленок. «Не ссорьтесь – молоко не придет», – говорила им Ахмадулина, сама сохраняя незыблемое спокойствие. И действительно, у других женщин в палате были разные проблемы: у кого мастит, у кого просто молоко пропадало, а у нее все было в полном порядке, и первые дни ее дочери Елизаветы прошли в сытости, покое и умиротворении.

«Новость о том, что мне предстоит появиться на свет, стала для всех полной неожиданностью, – рассказывала она. – Мама нашла в себе силы принять ее и стала думать о грядущем событии как о большой радости. Но они с папой хотели мальчика, собирались назвать его Александром – в честь Пушкина. И тут опять сюрприз: девочка. А ведь отец с Кавказа, для него это принципиальный момент. В записках из роддома мама уговаривала его принять случившееся как данность и полюбить меня хотя бы за то, что я на него похожа. Правда, сходство это, кажется, было мистификацией. Просто у меня в младенчестве волосы росли от бровей и до самой макушки. Вот на это мама и ссылалась. Мол, сразу видно, что кавказская девочка. Других общих черт не наблюдалось.

Имя мне дал профессор Реформатский – по его учебнику мы осваивали в Литинституте введение в языкознание. Мамины

рассказы о нем рисуют совершенно удивительного старика, озорного профессора, который как-то попал в милицию за то, что в нетрезвом виде вместе со своими студентами ради забавы хотел прыгнуть с моста в Москву-реку. Когда я родилась, он пришел к нам и страшно возмутился, узнав, что меня назвали Софьей. Почему – никто не знает. «Об этом не может быть и речи, – заявил он тоном, не терпящим возражений. – Только Елизавета!» Почему Елизавета, профессор тоже не объяснил. Но имя всем понравилось».

Меня до глубины души поразила не редактированная переписка Беллочки с Василием Аксеновым. Такого предельно откровенного документа я давно не читала. Он уехал и живет в Америке, а она тоскует по нему в России, в Москве. Ведется исповедальное общение, которое может быть у людей, которые думают, что больше не увидятся. Каждую неделю они в письмах рассказывали, что с ними происходит. Есть в них и болевые вещи: как-то зашушукались, что из переделкинского сада единственного ребенка, которого не берут – дочка Ахмадулиной Лиза. И тут же в переписке с Аксеновым Белла пишет: «Я плоха. Душа испепелила организм!» Да, Белла очень переживала каждое неосторожно брошенное слово в ее адрес, тем более, если оно касалось ее детей. Оно мучилась, если она что-то не могла сделать для своих детей.

Зоя Богуславская, писательница, прозаик, эссеист, драматург, вдова поэта Андрея Вознесенского.

Но рождение ребенка не спасло брак Ахмадулиной с Эльдаром Кулиевым. Уж очень они были разные люди, и кроме дочери у них фактически не было ничего общего. Да и разница в возрасте сказывалась. Кулиев был слишком юным, он не мог стать для жены опорой, в которой она нуждалась. Ахмадулина ведь не была создана для роли матери, она сама всю жизнь оставалась вечной девочкой, прекрасным эльфом, для которого бытовые заботы были вынужденным и очень тяжелым бременем. А тут кроме двух дочерей она должна была заботиться еще и о юном муже, которому еще только предстояло стать серьезным взрослым мужчиной. Для нее это было непосильной ношей. «Положение старшей в семье маме подходило мало, – вспоминала Елизавета Кулиева, – тем не менее она как могла обустраивала быт и даже помогала папе писать курсовые. Думаю, мама любила мужа и расстались они не по ее вине, но брак был обречен с самого начала. Знаю, что мой отец замечательно относился к Ане, моей старшей сестре, она сохранила о нем самые теплые

воспоминания».

Лиза Кулиева родилась в 1973 году. Брак Беллы Ахмадулиной и Эльдара Кулиева почти сразу распался, а весной 1974 года Белла, выгуливая во дворе собаку, встретила Бориса Мессерера. И можно сказать, что ее жизнь разделилась на две части – до этого дня и после него…

Не плачьте обо мне – я проживу
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
чахоточной да злой петербуржанкой
на малярийном юге проживу.

Не плачьте обо мне – я проживу
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет Божью Матерь,
убогим богомазом проживу.

Не плачьте обо мне – я проживу
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечёткой
мои стихи, моей рыжея чёлкой,
как дура будет знать. Я проживу.

Не плачьте обо мне – я проживу
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой моею и пресветлой
уж как-нибудь, а всё ж я проживу.

Вместо эпилога. Борис Мессерер

Мама никогда не обсуждала с нами свою личную жизнь, у нас складывалось впечатление, что она просто родилась в браке с Борисом Мессерером, нашим отчимом, и никогда не было иначе.

Елизавета Кулиева

Закономерный вопрос: почему эпилог? В 1974 году, когда Ахмадулина вышла замуж за Бориса Мессерера, ей было всего тридцать семь лет. Впереди у нее была еще половина жизни, в которой произошло немало событий. Ей предстояло пережить много взлетов и падений – впасть в немилость за участие в создании литературного альманаха «Метрополь», вступиться и не раз за советских диссидентов, получить Государственную премию СССР, побывать в Грузии и проникнуться большой любовью к грузинскому языку, получить звание почетного академика Американской академии искусств и литературы… Не говоря уж о том, со сколькими необыкновенными людьми она за эти годы подружилась, в скольких странах побывала и сколько прекрасных стихов написала.

Но в этом все и дело. Я не зря вынесла в эпиграф эпилога слова Елизаветы Кулиевой. Годы, прожитые Беллы Ахмадулиной с Борисом Мессерером, – это, можно сказать, ее вторая, отдельная жизнь. Эту жизнь не уместить в пару глав, она достойна целой отдельной книги. И такая книга уже есть – это «Промельк Беллы», написанный самим Мессерером.

Их общий друг Михаил Жванецкий говорил: «Ей очень повезло в жизни – встретить такого человека, как Борис Мессерер. После этих ветреных поэтов у нее появился настоящий муж, которому можно было за спину зайти, который брал ее за руку и вел… Боря и носил ей, и подносил, он мыл ей ноги и руки. Сам, будучи замечательным художником-постановщиком, он знал, возле кого он рядом, и огромное уважение ему за этот титанический труд, за то, что подарил ей счастливую жизнь».

В Борисе Мессерере Белла Ахмадулина обрела не только свою вторую половину, верного друга, ангела-хранителя, но еще и биографа. Кто может рассказать о ней и их совместной жизни подробнее и лучше чем он?

Приведу лишь одну цитату из его книги:

«В первые дни нашего совпадения с Беллой мы отрезали себя от окружающего мира, погрузились в нирвану и, как сказано Высоцким, легли на дно, как подводная лодка, и позывных не подавали… Мы ни с кем не общались, никто не знал, где мы находимся.

На пятый день добровольного заточения Беллы в мастерской я, вернувшись из города, увидел на столе большой лист ватмана, исписанный стихами. Белла сидела рядом. Я прочитал стихи и был поражен – это были очень хорошие стихи, и они были посвящены мне. До этого я не читал стихов Беллы – так уж получилось. После знакомства с ней мне, конечно, захотелось прочитать, но я не стал этого делать, потому что не хотел сглазить наши нарождавшиеся отношения.

Я, конечно, очень обрадовался и стихам, и порыву, толкнувшему Беллу к их созданию. Я был переполнен радостью и бросился к ней…

И сразу же решил повесить эти стихи на стену. Схватил огромные реставрационные гвозди и прибил этот трепещущий лист бумаги со стихами к наклонному мансардному потолку мастерской. Листок как бы повис в воздухе, распятый этими гвоздями. Жизнь показала, что мое решение было правильным. Все тридцать шесть лет нашей совместной жизни листок провисел там, хотя потолок моей мастерской постоянно протекал и был весь в пятнах и разводах, которые коснулись и листа бумаги. Он и сейчас висит на этом самом месте…»

Четвертый брак Беллы Ахмадулиной стал последним. Она нашла человека, который не только любил ее, но и дал ей ту заботу, ту надежность, в которой она так нуждалась. Из его книги можно узнать, как и чем она жила все те годы, что они провели вместе.

А я свой рассказ о бурной молодости Ахмадулиной закончу ее стихотворением об о переулке, где они жили с Мессерером, и где она обрела, наконец, свой настоящий дом:

Как никогда, беспечна и добра,
я вышла в снег арбатского двора,
а там такое было: там светало!
Свет расцветал сиреневым кустом,
и во дворе, недавно столь пустом,
вдруг от детей светло и тесно стало.
Ирландский сеттер, резвый, как огонь,
затылок свой вложил в мою ладонь,
щенки и дети радовались снегу,
в глаза и губы мне попал снежок,

и этот малый случай был смешон,
и все смеялось и склоняло к смеху.
Как в этот миг любила я Москву
и думала: чем дольше я живу,
тем проще разум, тем душа свежее.
Вот снег, вот дворник, вот дитя бежит –
все есть и воспеванью подлежит,
что может быть разумней и священней?
День жизни, как живое существо,
стоит и ждет участья моего,
и воздух дня мне кажется целебным.
Ах, мало той удачи, что – жила,
я совершенно счастлива была
в том переулке, что зовется Хлебным[7].

Приложение

Мужья Беллы Ахмадулиной

Евтушенко Евгений Александрович (фамилия при рождении – Гангнус), родился в 1932 (по паспорту – в 1933) году – советский и русский поэт.

Родился в семье геолога и поэта-любителя Александра Рудольфовича Гангнуса, прибалтийского немца по происхождению. В 1944 году, вернувшись из эвакуации, мать поэта, Зинаида Ермолаевна Евтушенко, геолог, актриса, заслуженный деятель культуры РСФСР, поменяла его фамилию на свою девичью.

Начал печататься в 1949 году, первое стихотворение опубликовано в газете «Советский спорт». В 1952 году вышла его первая книга стихов «Разведчики грядущего», в том же году Евтушенко приняли в Союз писателей СССР (стал самым молодым из его членов). С 1952-го по 1957 год учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Был исключен за «дисциплинарные взыскания», а также за поддержку романа Дудинцева «Не хлебом единым».

В 50–70-е годы, время поэтического бума, стал одним из символов «оттепели» и поколения шестидесятников, наряду с Робертом Рождественским, Андреем Вознесенским, Булатом Окуджавой и Беллой Ахмадулиной. В эти годы были изданы несколько его сборников, имевших большую популярность («Третий снег» (1955), «Шоссе энтузиастов» (1956), «Обещание» (1957), «Стихи разных лет» (1959), «Яблоко» (1960), «Нежность» (1962), «Взмах руки» (1962). Первые строки из вступления к его поэме «Братская ГЭС» (1965): «Поэт в России больше, чем поэт» стали крылатой фразой.

В 1961 году Евтушенко написал поэму «Бабий Яр», вызвавшую огромный резонанс по всей стране и бурные дискуссии (комсомольская организация приставила к нему охрану, чтобы защитить в случае чего). Эта поэма впоследствии была переведена на 72 языка и легла в основу симфонии № 13 b-moll «Бабий Яр» Дмитрия Шостаковича.

В 1963 и в 2007 годах был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Протестовал против ввода танков в ЧССР 21.08.1968. Выступал в поддержку советских диссидентов Бродского, Солженицына, Даниэля.

С 1986-го по 1991 год был секретарем Правления Союза писателей СССР. С декабря 1991 года – секретарь правления Содружества писательских союзов. С 1989 года – сопредседатель

писательской ассоциации «Апрель». С 1988 года – член общества «Мемориал». В 1987 году был избран почетным членом Американской академии искусств и словесности.

14 мая 1989 года был избран народным депутатом СССР от Дзержинского территориального избирательного округа города Харькова и был им до распада СССР. В 1991 году заключил контракт с американским университетом в городе Талса, штат Оклахома, и уехал преподавать в США. В 2007 году в спорткомплексе «Олимпийский» состоялась премьера рок-оперы на его стихи «Идут белые снеги». В 2013 году Евтушенко перенес операцию по ампутации ноги.

Был официально женат четыре раза.

1) Белла Ахмадулина (с 1954 года).

2) Галина Сокол-Луконина (с 1961 года), сын Петр.

3) Джен Батлер, ирландка (с 1978 года), сыновья Александр и Антон.

4) Мария Новикова (с 1987 года), сыновья Евгений и Дмитрий.

На стихи Евгения Евтушенко написано множество песен, в том числе «А снег идет», «Со мною вот что происходит…» (из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»), Нас в набитых трамваях болтает…» (из фильма «Служебный роман») и т. д.

В 1994 году именем Евтушенко была названа малая планета Солнечной системы, открытая 6 мая 1978 года в Крымской астрофизической обсерватории.

Нагибин Юрий Маркович (1920–1994) – советский и русский писатель, журналист и сценарист.

Происходил из дворянской семьи. Его отца, Кирилла Александровича Нагибина, расстреляли в 1920 году как участника белогвардейского восстания. Юрия усыновил лучший друг отца, адвокат Марк Яковлевич Левенталь, от него он и получил отчество, поэтому удалось скрыть его дворянское происхождение. Это позволило ему с отличием окончить школу и в 1938 году поступить в Первый московский медицинский институт, а потом перевестись на сценарный факультет ВГИКа, который он не окончил из-за войны.

Первый свой рассказ Нагибин опубликовал в 1940 году. Его дебют поддержали Ю. Олеша и В. Катаев. В том же году он был принят в Союз писателей.

С января 1942 года служил инструктором 7-го отдела Политуправления Волховского фронта, потом старшим инструктором. После тяжелой контузии работал до конца войны специальным военным корреспондентом газеты «Труд». В 1943

году опубликовал свой первый сборник рассказов.

Писал рассказы, повести киносценарии. В 1955–65 годах был членом редколлегии журнала «Знамя», с 1966-го по 1981-й – журнала «Наш современник». Член правления Союза писателей РСФСР с 1975 года, правления Союза писателей СССР с 1981 года.

В 1966 году поставил подпись под письмом в защиту А. Синявского и Ю. Даниэля. В 1993 году подписал «Письмо сорока двух».

Был шесть раз женат. Первой его женой была Мария Асмус, второй – Валентина, дочь И. А. Лихачева, директора автозавода им. Сталина, третьей – Елена Черноусова, четвертой – артистка эстрады Ада Паратова. Пятой его женой была Белла Ахмадулина, шестой и последней – переводчица Алла Нагибина.

Среди написанного Юрием Нагибиным сценарии фильмов: «Гость с Кубани», «Председатель», «Дерсу Узала», «Гардемарины, вперед!» и т. д.

Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Кулиев Эльдар Кайсынович (1951–2017) – советский и российский кинорежиссер и сценарист. Сын балкарского поэта Кайсына Кулиева.

Родился в городе Фрунзе, столице Киргизии в период депортации балкарцев. После возвращения балкарцев на родину с отличием окончил среднюю школу и поступил в 1968 году на режиссерский факультет ВГИК в мастерскую Александра Згуриди. Во время работы над своим дипломным кинофильмом «Прощальный взгляд» женился на Белле Ахмадулиной, в 1973 году у них родилась дочь Елизавета Кулиева.

Автор сценария фильмов «Прощальный взгляд» и «Раненые камни».

В результате аварии Эльдар Кулиев получил серьезную травму и не смог продолжать свою творческую деятельность. Умер 14 января 2017 года.

Мессерер Борис Асафович (род. 15 марта 1933 г.) – советский и российский театральный художник, сценограф, педагог. Президент Ассоциации художников театра, кино и телевидения Москвы. Академик РАХ, народный художник РФ, Лауреат двух Государственных премий РФ, Член Союза художников СССР, Союза театральных деятелей РФ и Союза кинематографистов РФ.

Родился в семье балетмейстера Асафа Мессерера и актрисы Анель Судакевич. Двоюродный брат балерины Майи Плисецкой. Окончил Московский архитектурный институт. Автор

сценографии более ста пятидесяти оперных, балетных и драматических спектаклей. Работал с Большим театром, «Современником», МХАТом.

Художник-постановщик фильмов «Лев Гурыч Синичкин», «Двенадцать стульев», «Романовы. Венценосная семья».

Первая жена – Нина Чистова, балерина ГАБТа. Сын – художник Александр Мессерер.

Вторая жена – Белла Ахмадулина.

Имя Бориса Мессерера носит один из героев повести «Сто лет тому вперед» и фильма «Гостья из будущего» – одноклассник Юли Грибковой и будущий известный художник.

Упоминаемые в книге литературные деятели 50–60-х, поддерживавшие Ахмадулину в начале ее творческого пути

Винокуров Евгений Михайлович (1925–1993) – русский советский поэт. Лауреат Государственной премии СССР (1987).

Родился в Брянске, в семье Михаила Николаевича Перегудова, впоследствии майора государственной безопасности, начальника Киевского районного отдела управления НКВД в Москве, и Евгении Матвеевны Винокуровой, дочери шляпника еврейского происхождения, впоследствии ставшей первым секретарем райкома ВКП(б).

В 1943 году, после 9-го класса, был призван в армию. Окончил артиллерийское училище, командовал взводом, будучи еще несовершеннолетним.

Первые его стихи были изданы в 1948 году в журнале «Смена». В 1951 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького, в том же году вышла его первая книга «Стихи о долге», в 1956 году – сборник «Синева», вызвавший одобрение Бориса Пастернака. Самое знаменитое его стихотворение – «Сережка с Малой Бронной», положенное в 1958 году на музыку Андреем Эшпаем.

Винокуров вместе со Степаном Щипачевым возглавлял поэтический отдел журнала «Октябрь», печатавший стихи юной Беллы Ахмадулиной, Леонида Мартынова, Бориса Слуцкого, вернувшихся из лагерей Николая Заболоцкого и Ярослава Смелякова. С 1971-го по 1987 год был заведующим отделом поэзии журнала «Новый мир». Под его редакцией в 1974 году вышла антология «Русская поэзия XIX века».

Долгое время вел творческий семинар в Литературном институте, воспитал немало талантливых поэтов и журналистов. Умер 23 января 1993 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Сельвинский Илья Львович (1899–1968) – русский советский поэт, писатель и драматург. Основатель и председатель Литературного центра конструктивистов.

Родился в Симферополе в крымчакской семье. Его дед был кантонистом Фанагорийского полка, отец участвовал в Русско-турецкой войне 1877 года, потом торговал мехами и пушниной.

Сельвинский учился в Евпаторийском начальном училище, потом в гимназии. Публиковаться начал с 1915 года. Принимал участие в революционном движении, воевал в составе Красной

Армии. Сменил множество профессий (был грузчиком, натурщиком, репортером, цирковым борцом и т. д.).

В 1923 году окончил факультет общественных наук 1-го Московского государственного университета. Был лидером конструктивистов. В 1926 году выпустил первый сборник стихов. В конце 1920-х писал экспериментальные эпические поэмы. В 1927–1930 годах вел публицистическую полемику с Маяковским. В 1930 году выступил с покаянными заявлениями и отправился работать сварщиком на электрозавод (как сам писал в автобиографии).

В начале 1930-х годов писал авангардистские стихотворные драмы, был корреспондентом «Правды» в экспедиции, возглавляемой О. Ю. Шмидтом на пароходе «Челюскин», но в дрейфе и зимовке не участвовал: в составе группы из восьми человек высадился на берег во время стоянки у о. Колючина и прошел с чукчами на собаках по льдам Ледовитого океана и тундре до мыса Дежнёва.

В 1937 года Политбюро выпустило разгромную резолюцию о его пьесе «Умка – Белый Медведь», а в 1939 году его стихи были названы «антихудожественными и вредными».

Далее он писал исторические драмы в стихах, с 1941-го воевал – сначала в звании батальонного комиссара, затем подполковника. Получил две контузии и одно тяжелое ранение, был награжден золотыми часами за текст песни «Боевая крымская», ставшей песней Крымского фронта.

В 1943 году его отозвали из армии и вновь раскритиковали за «неправильный» рассказ о еврейских жертвах нацистов (или по другой версии за то что в его стихотворении «Кого баюкала Россия…» заподозрили карикатуру на Сталина). В 1945 году простили и восстановили в звании.

Широкой публике Сельвинский известен прежде всего по песне «Черноглазая казачка»:

Черноглазая казачка
Подковала мне коня.
Серебро с меня спросила,
Труд недорого ценя…

Умер 22 марта 1968 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Смеляков Ярослав Васильевич (1913–1972) – советский поэт, критик, переводчик. Лауреат Государственной премии СССР (1967).

Родился в Луцке в семье железнодорожного рабочего. В деревне окончил начальную школу, потом учился в Москве, в школе-семилетке. Окончил полиграфическую фабрично-заводскую школу, работал в типографии. По настоянию друга, журналиста Всеволода Иорданского, принес свои стихи в редакцию молодежного журнала «Рост», но перепутал двери и попал в журнал «Октябрь», где его стихи приняли в печать. Первый сборник своих стихов «Работа и любовь» (1932) сам набирал в типографии как профессиональный наборщик.

Занимался в литературных кружках при газете «Комсомольская правда» и журнале «Огонек». Член Союза писателей СССР с 1934 года. В 1934–1937 годах был репрессирован. С 1937 года – ответственный секретарь газеты «Дзержинец» трудкоммуны имени Дзержинского (Люберцы). В 1939 году восстановлен в Союзе писателей.

С июня по ноябрь 1941 года был рядовым Красной армии на Северном и Карельском фронтах. Попал в окружение, находился в финском плену до 1944 года. В 1945 году опять был репрессирован и попал под Сталиногорск (ныне г. Новомосковск Тульской области) в проверочно-фильтрационный спецлагерь. Срок отбывал в лагерном отделении при шахте треста «Красноармейскуголь».

Усилиями журналистов П. В. Поддубного и С. Я. Позднякова был освобожден и работал ответственным секретарем газеты «Сталиногорская правда». К писательской работе ему удалось вернуться благодаря Константину Симонову. В 1948 году вышла книга Смелякова «Кремлевские ели».

В 1951 по доносу двух поэтов он вновь арестован и отправлен в заполярную Инту. Вернулся в 1955 году по амнистии. Реабилитирован в 1956 году.

Член Правления Союза писателей СССР с 1967 года. Председатель поэтической секции Союза писателей.

Самые известные стихотворения: «Если я заболею…», «Хорошая девочка Лида», «Милые красавицы России» и т. д.

Умер 27 ноября 1972 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Смирнов Сергей Сергеевич (1915–1976) – советский писатель, историк, радио– и телеведущий, общественный деятель. Лауреат Ленинской премии (1965) за книгу «Брестская крепость».

Родился в семье инженера. Детство провел в Харькове. Ушел из Московского энергетического института, не доучившись год до окончания, поступил в Литературный институт им. М. Горького (1941), потом ушел на фронт, институт окончил после войны. С

1942-го – доброволец истребительного батальона, окончил школу снайперов под Москвой, потом училище зенитной артиллерии в Уфе, с января 1943-го командир взвода 23-й зенитно-артиллерийской дивизии. Затем литсотрудник газеты «Мужество» 27-й армии.

Начал печататься в 1934-м как журналист. После войны работал редактором Воениздата. Уволен из армии в 1950-м в звании подполковника. В 1959–1960-м – главный редактор «Литературной газеты». В 1975–1976-м – секретарь Союза писателей СССР.

В 1958–1970 годах побывал в 50 зарубежных странах, описал свои поездки в репортажах и очерках.

Много сделал для увековечения памяти героев войны. Впервые сделал всеобщим достоянием героическую эпопею обороны Брестской крепости. Многое сделал для восстановления доброго имени солдат, попавших в годы войны в плен и позднее за это осужденных в СССР.

Умер 22 марта 1976 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Шкапская Мария Михайловна (1891–1952), урожденная Андреевская – русская поэтесса и журналистка. Родилась в семье мелкого чиновника министерства земледелия. Отец русский, мать – немка. Из-за болезни родителей (паралич матери и психическое заболевание отца) вынуждена была с одиннадцати лет работать прачкой, уборщицей, статисткой в театральной труппе и т. д. Окончила Петровскую гимназию и два курса Петербургского психоневрологического института. В 1910 году вышла замуж за своего сокурсника Глеба Орестовича Шкапского.

После Ленского расстрела участвовала в демонстрации у Казанского собора, была арестована, две недели просидела в тюрьме. Через год снова была арестована, но благодаря ходатайству влиятельных друзей, им с мужем было разрешено уехать в Европу. Закончила литературный факультет в Тулузе, год изучала китайский язык в Париже. В 1916 году вернулась в Россию.

В начале 1920-х годов по рекомендациям А. Блока, М. Кузмина и М. Лозинского была принята в члены петроградского Союза поэтов. В 1922–1925 годах издала семь поэтических сборников, а также книгу стихов для детей.

В 1925 году занялась журналистикой. Работала в газете «Правда» и в ленинградской «Красной газете». С началом Великой Отечественной войны была зачислена в Литгруппу при Совинформбюро. Писала очерки для ВОКСа, Антифашистских

комитетов и Радиокомитета. Издала книгу «Это было на самом деле» о зверствах фашистов на оккупированной территории.

Увлекалась собаководством, устраивала собачьи выставки, вывела породу коричневых пуделей с различными оттенками.

Скончалась от инфаркта 7 сентября 1952 года на выставке собак в Сокольниках. Похоронена на Введенском кладбище.

Щипачёв Степан Петрович (1899–1980) – советский поэт, лауреат двух Сталинских премий (1949, 1951).

Степан Щипачёв родился в семье крестьянина, в декабре 1898 года по старому стилю или в январе 1899 года по новому. С четырех лет остался сиротой. В 1913–1917 годах работал приказчиком скобяной лавки. В 1919–1921 годах служил в Красной Армии. В дальнейшем был преподавателем в военных учебных заведениях, редактором журнала «Красноармеец» и других изданий. Окончил литературное отделение Института красной профессуры.

Писать начал с 1919 года. Опубликовал более двадцати сборников своих произведений. Член правления Союза писателей СССР, председатель секции поэтов. Не раз бывал за границей представителем советской писательской общественности.

В 1960 году активно выступал против запрета на выезд за границу Евгения Евтушенко. Подписал Письмо группы советских писателей в редакцию газеты «Правда» 31 августа 1973 года о Солженицыне и Сахарове. Автор статьи в «Литературной газете» против Солженицына.

Самое известное стихотворение – «Пионерский галстук»:

Как повяжешь галстук,
Береги его:
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.

Умер 1 января 1980 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Источники и литература

Аксенов В. «Таинственная страсть».

Андреев И. «Фаина Раневская. Клочки воспоминаний».

Андреевский Г. «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху 1930–1940 гг».

Антипина В. «Повседневная жизнь советских писателей. 1930–1950-е годы».

Ахмадулина Б. «Миг бытия».

Бердинских В. «Русская деревня. Быт и нравы».

Большаков И. «Советское киноискусство в послевоенные годы».

Быстрицкая Э. «Встречи под звездой надежды».

Васькин А. «Сталинские небоскребы. От Дворца Советов к высотным зданиям».

Вербицкая О. «Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву».

Вирабов И. «Андрей Вознесенский».

Волков И. «Трудовой подвиг советского крестьянства в послевоенные годы. Колхозы СССР в 1946–1950 гг.».

Гейзер М. «Фаина Раневская».

Геллер М. «Машина и винтики. История формирования советского человека».

Дымарский В. «Времена Хрущева. В людях, фактах и мифах».

Дымарский В., Рыжков В. «Осторожно, история! Мифы и легенды нашей страны».

Евтушенко Е. «Антология».

Евтушенко Е. «Волчий паспорт».

Евтушенко Е. «Талант есть чудо неслучайное».

Жигулин А. «Черные камни»

Зубкова Е. «Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953».

Ивинская О. «В плену времени».

Козлов А. «Козел на саксе».

Кружков Н. «Высотки сталинской Москвы. Наследие эпохи».

Кузьмина Е. «О том, что помню».

Кучкина О. «Иркутская история про двух дам с собачкой».

Лейбович О. «В городе М. Очерки социальной повседневности советской провинции».

Малышев А. «Цифры и факты о развитии экономики и культуры в СССР».

Мессерер Б. «Промельк Беллы».

Нагибин Ю. «Дневник».

Орлова Е. «Хроники Фаины Раневской. Все обязательно сбудется, стоит только расхотеть!».

Пастернак Е. «Борис Пастернак. Биография».

Пугачева К. «Прекрасные черты».

Раневская Ф. «Философ с папиросой в зубах».

Раневская Ф. «Записки социальной психопатки».

Симонов К. «Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине».

Симонов Н. «Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление».

Скороходов Г. «Разговоры с Раневской».

Смирнова Л. «Моя любовь».

Хмельницкий Д. «Дмитрий Чечулин в истории советской архитектуры».

Целиковская Л. «Воспоминания».

А также фрагменты интервью разных лет Беллы Ахмадулиной, Бориса Мессерера, Елизаветы Кулиевой, Анны Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Юрия Нагибина, Аллы Нагибиной, Эльдара Рязанова, Михаила Жванецкого, Андрея Дементьева, Дмитрия Воденникова, Ларисы Черниковой, Дмитрия Быкова, Андрея Битова, Зои Богуславской, Инны Богачинской, Веры Зубаревой и др.

notes

Сноски

1

Фрагменты, выделенные курсивом, принадлежат Белле Ахмадулиной. – *Прим. ред.*

2

Ни Ахматова, ни Ахмадулина не любили слово «поэтесса», поэтому из уважения к ним лучше его избегать.

3

Фамилия цитируется по книге Бориса Мессерера «Промельк Беллы». Приемная дочь Беллы Ахмадулиной Анна называет фамилию Барамов.

4

Имеются в виду Марина Цветаева и ее младшая сестра Анастасия Цветаева.

5

Цитируется по книге Евгения Евтушенко «Волчий паспорт», но, вероятно, это ошибка, и речь идет о 1956 годе.

6

В большинстве биографических справок написано, что на семнадцать лет, но я ориентируюсь на официальные даты рождения.

7

Формально дом, в котором жила Ахмадулина, находится на Поварской улице, но выход из него – в сторону Хлебного переулка.